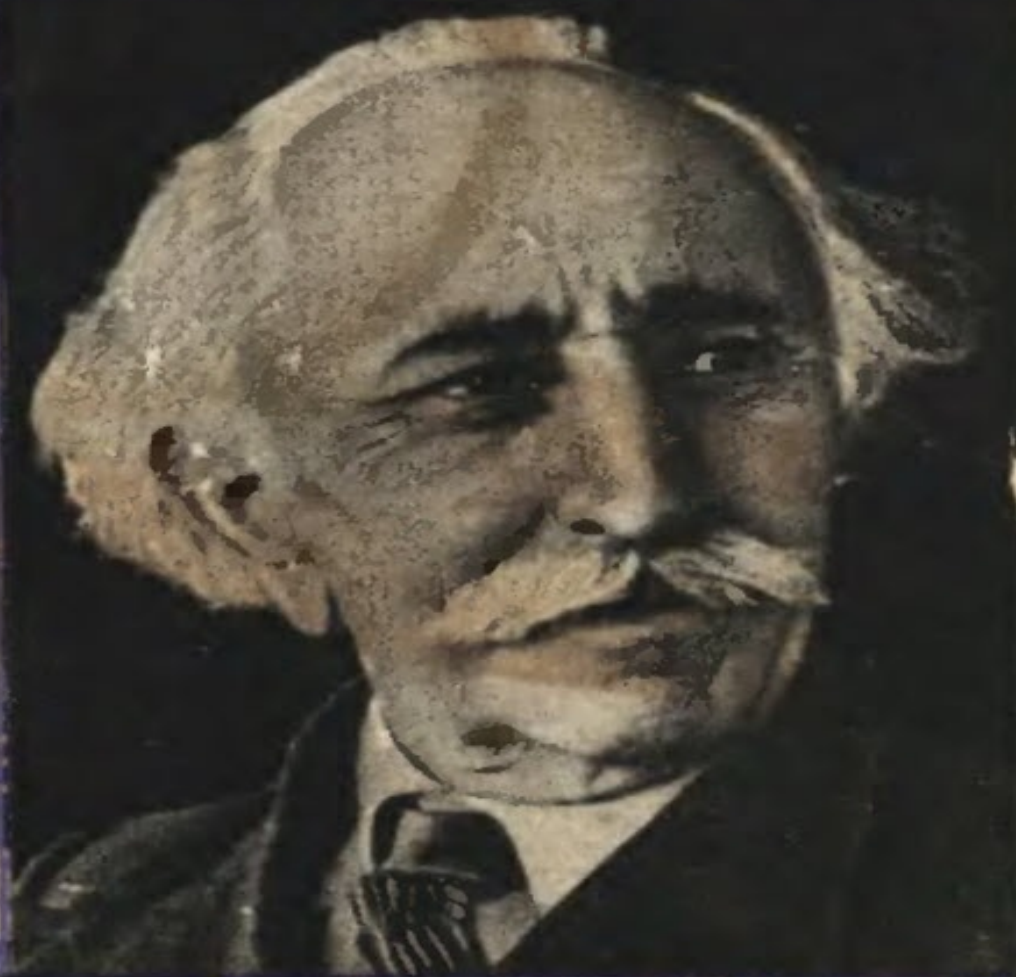


ДМИТРИЙ ГУЛИА



Георгий
Тулиа



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Эта книга — о народном поэте Абхазии Дмитрие Гулиа. А по существу — рассказ о становлении абхазской художественной литературы и культуры, о прошлом и настоящем абхазского народа.

Представьте себе поэта, которому, прежде чем писать стихи, надо создать алфавит и букварь. Представьте себе руководителя театра, которому, прежде чем поднять занавес, надо написать пьесу и создать театр. Представьте себе ученого, решившего посвятить себя культуре своего народа, ученого, которому почти все приходится делать сначала: писать историю своей страны, собирать народное творчество и даже налаживать делопроизводство на родном языке.

Таким был Дмитрий Гулиа — сын абхазского крестьянина, впоследствии народный поэт Абхазии, известный ученый и общественный деятель. Всю свою жизнь он шел непроторенной дорогой, и потому книга о нем посвящена тем, кто не ищет в жизни легких путей.

Автор книги — сын Дмитрия Гулиа, писатель Георгий Гулиа (род. в 1913 году), лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, автор повестей «Друзья из Сакена», «Черные гости», «Каштановый дом». «Скурча уютная», романов «Водоворот» и «Пока возвращается Земля...», пьес и рассказов.

Книга Г. Гулиа об отце — Дмитрие Гулиа — переведена на многие языки народов СССР и зарубежных стран.

[Адаптировано для AlReader]

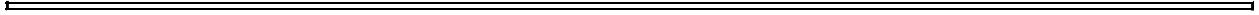


FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Георгий Гулиа](#)
 -
 -
 -
 - [1](#)

- [illegible]

- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 27
[352]

МОСКВА
1965

Георгий Гулиа

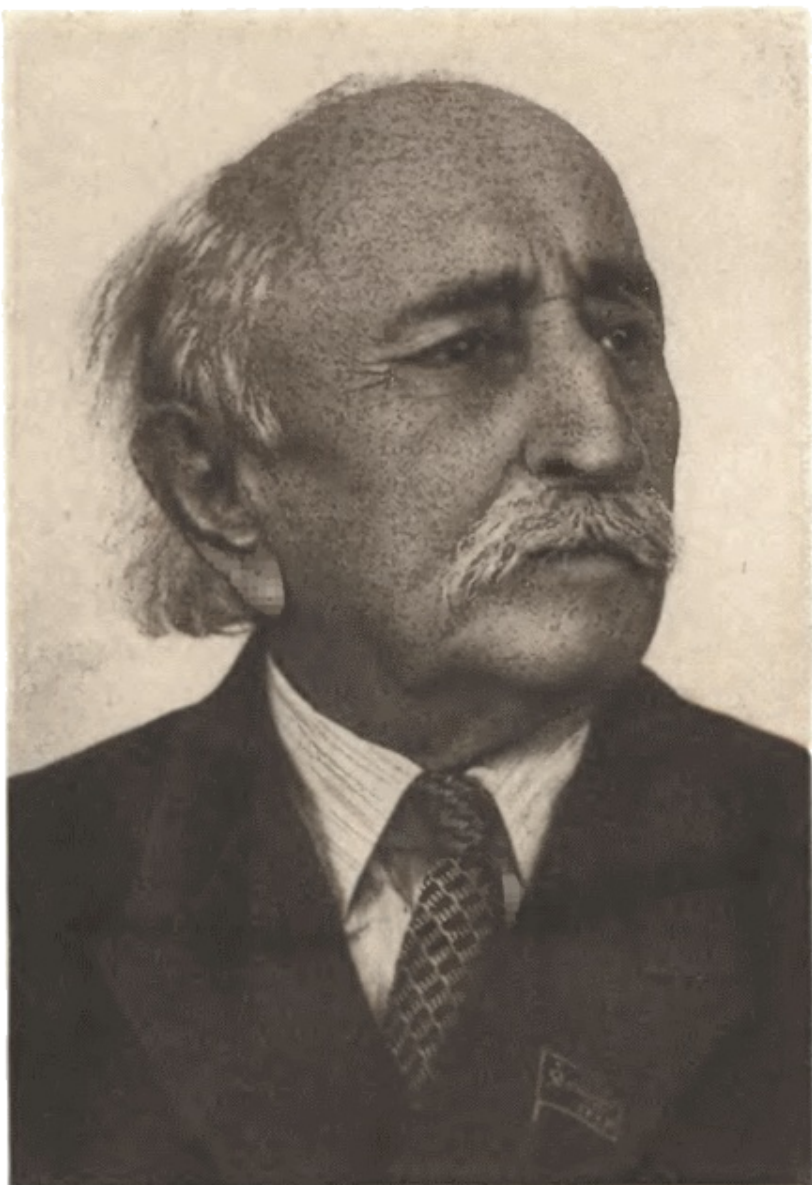
ДМИТРИЙ ГУЛИА
Повесть о моем отце

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

*Издание второе,
дополненное и исправленное*

М., «Молодая гвардия», 1965



D. Tynan

Тем, кто не ищет легких путей.



Вот он лежит, невероятно тихий, и, склонившись над ним, беру его за плечи. Сколько раз стоял я вот так, у изголовья, слушая его и веря в его могучее сердце! А сейчас он молчит, и с последним вздохом— легким, как вздох облегчения, — на его лице появляется прозрачная улыбка. Тоже последняя... И до моего сознания тяжело, словно в горячечном сне, доходит невыносимый факт: нет больше у меня отца... Но все еще не вполне отчетливо сознавая только что происшедшее, все еще не желая верить в катастрофу, я вспоминаю его, крепкого и сильного, казавшегося большим, широкоплечим, вырубленным, что называется, из скалы. И этот на мгновение воскресший образ, лишь в общих чертах напоминающий ушедшего, вдруг заставляет поверить в реальность, и я начинаю вести себя так, как вели себя с испокон веку и будут вести и впредь во веки веков все люди, теряющие самого близкого и дорогого человека.

Но я уже слышу там, в соседней комнате, и там, на широком дворе, голоса людей. Люди торопятся сюда, к смертному одру. Спешат со всей Абхазии. И я вижу рядом с собой коленопреклоненных друзей его, которым так же горько ныне, как и мне. И я чувствую, что горе у нас общее. Но мое горе — это мое личное горе. Оно останется со мной. И касается оно только

меня одного...

Я стою возле него, а уже бегут минуты, часы и дни. Уже без него. И пока он лежит вот так, невероятно спокойно и тихо, как бы чему-то втайне улыбаясь, московское радио и газеты извещают о том, что «скончался выдающийся советский писатель и ученый, народный поэт Абхазии, основоположник абхазской литературы Дмитрий Иосифович Гулиа». Правительства Грузии и Абхазии со скорбью оповещают об этой потере. И поток телеграмм — невиданный в Абхазии — уже течет к этому дому на берегу моря со всех концов Советского Союза и из-за его рубежей...

Третий день стою и смотрю на отца. Мне всегда казалось, что я знал его хорошо. Всего. До последней его мысли. Но вдруг начинаю понимать, что не дослушал чего-то, не выпросил о чем-то в беседах с ним. И теперь уже все это — его тайна...

Наши словари и учебники называют Дмитрия Гулиа «основоположником абхазской художественной литературы и абхазского литературного языка». Николай Тихонов сказал о нем: «...нестареющий пример для молодых». «Их великий писатель Дмитрий Гулиа», — писал Луи Арагон об абхазцах. «Гулиа схож с величавым красавцем Ерцаху» — самой высокой горной вершиной в Абхазии, — отмечал Шалва Дадиани, а Иосиф Гришашвили сказал: «Гулиа — один из виднейших и уважаемых представителей многонациональной советской литературы». Мартирос Сарьян, посылая Дмитрию Гулиа свой этюд, написал: «Певцу абхазского народа», «учителю и писателю». По словам Константина Паустовского, Гулиа «создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах». Константин Симонов говорил: «Мы очень гордимся нашим молодым патриархом». «Патриархом от литературы» называли Гулиа Самсон Чанба и Баграт Шинкуба. Корнелий Зелинский писал, что Гулиа, как поэт, видел сущность нашей поэзии в том, «чтобы делать людей великанами — душой и телом». Мирза Ибрагимов говорит: «Каждый, кто прочтет произведения Гулиа, увидит в них Абхазию». А по словам Расула Гамзатова, Гулиа «вывел вот этой рукой абхазский алфавит», чтобы петь «о солнце абхазской земли...».

Я вспоминаю все эти и многие другие слова, и мне хочется знать больше, чем это положено знать об отце, который никогда уже не поддержит тебя своей улыбкой. Мне хочется почетче осмыслить, к кому же явились эти тысячи, что безмолвно теснятся под окнами и скоро понесут его на руках в последний путь. Я вижу их лица. Я вижу слезы. Они, несомненно, явились к близкому, очень близкому человеку. И мне хочется как бы со стороны посмотреть и на него и на них. На живого. На живых.

Хочется зажать свое горе в кулак и увидеть его таким, каким он был при жизни среди них.

И я напрягаю воображение до предела.

Однако это очень трудно — увидеть верно. Тенцинг Норгей говорил: «...что такое Эверест без глаза, который его видит? Велик ли он или мал — это зависит от души человека».

Но не попытаться увидеть только потому, что это трудно, не осмыслить увиденного я уж не могу...

Весьма странную картину представляла Абхазия семидесятых годов прошлого века. Вообразите себе рай земной, из которого сломя голову бегут его обитатели. Добро бы, если бы они стремились в какой-нибудь другой рай, более привлекательный и близкий сердцу их. Но ведь люди плыли куда-то за море, в чужую и непонятную землю.

Умозрительно все это объяснить можно. Царские войска завоевывали Кавказ. Горцы оказывали ожесточенное сопротивление. В конце концов, обманутые своими князьями и дворянами, горцы целыми семьями бежали в Турцию. Так родилось на Кавказе «махаджирство», или «мухаджирство», как произносят это слово в Кабарде, Адыгее и Черкессии. Сотни тысяч горцев Западного Кавказа оказались разбросанными по обширным землям Османской империи. Многие махаджиры погибали на утлых челнах. Другие умирали от голода и жажды на обетованном турецком берегу. Третьи же отдавали богу душу на нелегком обратном пути, проклиная «обетованную землю» и во что бы то ни стало желая хотя бы одним глазом увидеть очертания родных гор. Лишь очень немногим удалось снова ступить на древнюю землю предков.

Среди таких счастливых была семья Урыса Гулиа, крещенного под именем Иосифа.

Поэт-черноморец Евгений Зайцевский писал об Абхазии: «Волшебный край, приют цветов! Страна весны и вдохновений!» Да, Абхазия — действительно страна весны, страна вдохновений. Спустя много лет после того, как были написаны эти поэтические строки, Антон Чехов подтверждал эту же мысль в одном из своих писем: «Природа удивительная... Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов». Я не знаю, можно ли похвалить какую-либо землю больше, чем это сделал Чехов. И уже в наше время Константин Федин в своих «Абхазских рассказах» говорит: «Парк с его слоновыми пальмами в три обхвата, с аллеями вашингтоний в кудрявых волосах на огромных пальчатых листьях, с палкообразными сухими

усами, с зарослями бамбуков, в которых дышит влажная прохлада, — все эти чудеса из проснувшихся географических атласов еще стояли перед моими глазами, когда я ехал в автобусе по берегу Черного моря в Очемчиры». Еще определенной высказался Константин Паустовский в «Броске на юг». «Этот рай назывался Абхазией... И абхазцы казались загадочными...»

А мне до сих пор кажутся загадочными те абхазцы, которые снялись с насиженных мест и кинулись неведо куда. Этих горцев так же трудно понять, как южноамериканских «махаджиров», плывших по Великому океану на бальзовых плотках, подобных «Кон-Тики». Вы спросите: тяжело ли жилось горцам на родной земле? Несомненно. Вы спросите: значит, невыносимо было существование в «райском уголке»? По-видимому, да. Но ведь кто-то оставался и кто-то выжил? Да, это так. А кто-то добровольно — пусть поддавшись обману — бросил свою землю, «оставил своих покойников»? Да, это так! Добровольно переселялись за море князья и дворяне, настроенные туркофильски. Они всяческими посулами заманивали в Турцию зависимых от них крестьян. Наконец, сами турки насильно увозили горцев, чтобы обратить их потом в рабов. Так случилось, например, с Урысом Гулиа и его семьей на берегу моря близ реки Кодор. Этот трагический эпизод со всей возможной достоверностью воспроизведен в поэме Дмитрия Гулиа «Мой очаг».

Гулиа писал: «Некий дворянин Маан привел к нам во двор турецких аскеров-солдат. «Эти не желают выселяться», — сказал он. Аскеры сожгли наш двор, а семью погнали к морю». (Так поступали турки на всем протяжении Черноморского побережья, вплоть до Анапы.) На виду берега стояло судно. Его до отказа нагроулили людьми, и оно отплыло в Трапезунд.

Семья Урыса Гулиа в то время состояла из жены Рабиа, урожденной Барганджиа, матери Фындык, урожденной Цабриа, сына Дмитрия (род. 21 февраля 1874 года) и еще дочери и сына, которые погибли потом близ Батума. Вместе с ними «отплыли» в Турцию многочисленная родня и однофамильцы (в Абхазии однофамилец — все равно что близкий родственник).

Оставшиеся в живых после ужасного путешествия в зловонных трюмах были выброшены на пустынный берег близ Трапезунда. Гулиа пишет: «Словом, мы очутились на турецком берегу в ужасающем положении: без жилья, без еды». Среди махаджиров начался голод. Вспыхнули болезни. Люди умирали на горячих песках «обетованной земли». Посильную помощь им оказывали абхазцы из ближайших деревень да бедные турецкие рыбаки.

Урыс собрал своих родственников. Это был невысокий лобастый мужчина, рассудительный и красноречивый. Однако не потребовалось не только красноречия, даже лишних слов, чтобы убедить их немедленно отправляться назад, в Абхазию. Но возвращаться домой было непросто. В то время шла война между Россией и Турцией, и встреча с патрульными кораблями любой стороны грозила гибелью даже мирным челнам. (Как говорил рыбак у Майкова: «Вы дрались, а бомбой в битве челн прошибло у меня».) С другой стороны, невозможно было выжить на берегу. Люди гибли ежедневно: их косили голод и дизентерия. Горсть кукурузной муки была ценнее слитка золота. Воду таскали откуда-то издалека. Спали под открытым небом. Здесь, в Турции, махаджирам постоянно мерещились воистину райские уголки Абхазии, где расцветают даже сухие палки, если воткнуть их в землю. Но напрасно напрягали они зрение, пытаясь разглядеть горы, оставшиеся за морем.

Мешкать было преступно! Урыс Гулиа договорился с турком-рыбаком, и на небольшой кочерме вся семья отправилась в плавание. Это было темной осенней ночью. План был прост: сначала в Батум, где жили абхазцы, а затем оттуда в Абхазию.

— Человек — крепче железа, — говорил Дмитрий Гулиа, вспоминая тот переход по зыбким волнам. — Немного полусырых лепешек, немного маслин и совсем немного воды — вот все, чем запаслась наша семья. В довершение ко всему нам все время приходилось вычерпывать воду из кочермы. От этой обязанности не был освобожден даже я, хотя шел мне всего пятый год.

Кочерма все-таки достигла Батума. Семья Гулиа оказалась среди абхазцев. Общими усилиями построили хижину. Бабушка Фындык развела огонь в очаге. Рабиа подоила корову — подарок старожилков. В этой немудреной хижине — сооружении из веток и глины — семья Гулиа провела несколько месяцев. Не хотелось и думать о том, чтобы осесть на этом месте.

Вечерами — разговоры только об Абхазии, только о селе Уарча, только о шумливом Кодоре.

— Слушай, Урыс, — говорили гостеприимные батумцы, — о чем ты думаешь, куда смотришь? Война, идти в море — значит не пожалеть ни себя, ни детей. Подумай же...

— Я взвесил все, — отвечал Гулиа.

— И что же? Ты все-таки стоишь на своем?

— Я хочу в Абхазию!

Люди недоумевали, разводили руками. Идти в море, рисковать жизнью

семьи? А чем плохо здесь, в Батуме? И здесь на виду горы. И Чорох не хуже Кодора. И здесь то же Черное море.

Однако Урыс, словно сказочный нарт Сасрыква, стремился в Абхазию. Знаете вы нарта Сасрыкву из знаменитого нартского эпоса? Он попал в далекое прекрасное царство, где сочны луга, где чуден скот, где люди добры. Он избавил их от злого чудовища. Сасрыкве предлагают золото и серебро в награду за доброе дело. «Ничего мне не надо, — отвечает им Сасрыква. — Я нарт и хочу только в свою Абхазию!» Эти слова не раз повторял Урыс. И не раз повторяли их тысячи таких же беженцев, как он. И они всей душой стремились к себе на родину и достигали ее порой только лишь для того, чтобы умереть на ней. И горсть земли, которая сопровождала их во всех мытарствах, мягко ложилась им на грудь.

Однако Урысу и его семье повезло.

Небольшая турецкая кочерма еще раз отчалила от берега. Вздулся треугольный парус, и суденышко понеслось прямо на север. Долго стояли на берегу гостеприимные батумцы и махали башлыками.

Путешественники углубились в море, чтобы укрыться от пограничной стражи. Но в открытом море подстерегала еще худшая опасность: там сновали турецкие военные корабли.

— Аллах, — говорил турецкий рыбак, — встреча с ними хуже всякой встречи!

И он снова поворачивал кочерму поближе к берегу.

Вот так, дрожа каждую минуту за свою жизнь, Урыс и его семья плыли все дальше и дальше. Иногда ветер пропадал, и всем приходилось налегать на весла.

— Гач, греби вместе с нами, — говорил Урыс сыну. Гач (так называли домашние Дмитрия) садился за весло и делал свое дело по мере сил.

А женщины охали и стонали. Они болели морской болезнью, особенно мать — Рабиа. На нее жалко было смотреть. Властная бабушка Фындык подбодряла всех. Ей было девяносто, но была она бодрa, звонким голосом пела песни и твердила свое:

— Вот скоро, скоро...

Рыбак — худой и обветренный всеми черноморскими ветрами — сказал, что справа по борту лежит Абхазия. Измученные люди увидели тонкую полоску зеленой земли. Вода, небо и зеленая линия меж ними... Бабушка Фындык заплакала. Урыс сказал, что, наверное, так и есть, это Абхазия, ибо никакая другая земля не может зеленеть так, как абхазская.

Свежий ветер подгонял кочерму. Она то зарывалась носом в волну, то задирала его высоко-высоко, и тогда казалось, что кочерма пойдет ко дну

кормою вниз.

Вдруг что-то со свистом плюхнулось в воду. Еще... Еще...

— Аллах, — воскликнул турок, — русская пуля не лучше турецкой! — и вместе со своим помощником приналег на руль, пытаюсь уйти от берега. — Это очемчирская пограничная стража, — объяснил турок. — Я хорошо ее знаю...

Снова ушли в море и только к вечеру повернули круто на восток. Парус убрали: кочерма подходила к заветным местам под тихие всплески весел.

И тут снова засвистели пули. Но каким-то чудом свинец миновал несчастных переселенцев, и турок снова сманеврировал, уйдя подальше от берега. Наконец он решил пристать к местности, известной под названием Скурча, очень напоминающим по созвучию Скурию, Диоскурию — великий город древности, по-видимому стоявший где-то недалеко от этого места.

Кочерма чиркнула днищем по песку. Турок прыгнул за борт и привязал конец к ближайшему дереву. Урыс, стоя по пояс в воде, помогал своим спуститься на берег.

— Живее! — торопил турок.

Вот люди уже на берегу, их жалкие пожитки брошены на песок, и кочерма отчаливает.

Урыс бросился на землю, простерся на ней и воскликнул:

— Благодарю тебя, о боже!

Маленький Гач, дрожа от холода, всматривался в темень. Откуда-то доносился лай собак, и кто-то пел веселую песню.

Это было село Адзюбжа, что стоит прямо против Уарчи, на том берегу реки Кодор...

Ушли из Абхазии тысячи, а возвратились единицы, ибо немногим повезло так, как Урысу. И немало махаджиров — на дне Черного моря.

Так погибали народы. Так исчезли, например, убыхи, населявшие район Адлер — Сочи. Ничего не осталось от них на Кавказе, кроме странных, названий рек, перевалов, озер да местностей.

Так исчезло абхазское племя айбгаа, населявшее все ущелье реки Бзыбь — от берега моря до озера Рица и далее до Ауадхары.

Так исчезли люди, чьей родной землей были Сухум, окрестные горы и зеленые склоны Цабала, Чхалты, Псху, Сакена, Дала — все склоны до самого Клухорского перевала...

Урыс Гулиа на скорую руку соорудил себе шалаш на самом берегу реки Кодор. До старого жилища по прямой было не более версты. Он

указывал рукой на высокие тополя и объяснял Гачу:

— Там был наш старый дом...

Но «там» селиться махаджирам уже не разрешалось. «Там» уже были земли княжеские. Через Кодор приходилось идти вброд: в то время не было ни моста, ни парома. И паромщик Сит, которого помянет в своих смешных рассказах Дмитрий Гулиа, появился на Кодоре значительно позднее.

Чего только не одолеет человек, если по-настоящему возьмется за дело! Урыс хорошо знал поговорку из абхазских сказаний: «Мужа не спрашивают, кто он, но узнают по геройским делам». В бедственном положении махаджира «геройским делом» было возродить домашний очаг, прокормить семью, разыскать ближайших родственников и обзавестись новыми. При помощи адзюбжинских крестьян Урыс Гулиа вновь зажег очаг в своем доме, и он уже больше не гас. На его огонек шли люди, чтобы в разговорах скоротать вечер после изнурительного трудового дня. Велись бесконечные пересуды о махаджирах. Урыса слушали с благоговением, ибо это был один из тех, кто живым вернулся с «земли обетованной», на поверку оказавшейся преисподней.

— Там нет огромных тыкв! — раздраженно отвечал Урыс на вопросы тех, кто не раз слышал рассказы о тыквах величиной с дом.

— Там нет винограда-скороспелки! — ворчал Урыс, опровергая сказки о том, что в Турции виноград созревает всего лишь за ночь.

— Ты, должно быть, прав, — решили адзюбжинцы, ибо факт был неопровержим: Урыс еле живой воротился из турецкого эдема.

Вечерами охали да ахали. А с самого раннего утра мужчины снова пахали землю, сеяли кукурузу, пасли скот, растили виноград, строили неприхотливые жилища, ухаживали за лошадьми, а женщины воспитывали детей, готовили еду, оплакивали умерших. Словом, все шло своим чередом.

Разоренная, опаленная пожарами страна понемногу приходила в себя. Все обещало войти в норму — ведь это же был рай земной. Но здесь уже не досчитаются тех, кто проливал горючие слезы по родине в далеких чужих краях. И мы, мысленно озирая то время, правомочны спустя много лет задать вопрос:

— Неужели же среди людей этой земли не нашлось ни одного настоящего мужчины, ни одного человека с голосом, достойным вождя, который остановил бы бегущую толпу этих потерявших голову махаджиров, ринувшихся в неведомую пучину?

И положа руку на сердце мы должны будем повторить единственно возможный ответ:

— Да, в то время не оказалось того, кто смог бы остановить народ и

образумить. Народ, по существу, был отдан на произвол полуграмотным князькам, которым не было никакого дела до национального самосознания. Не оказалось ни одного, кто бы поставил собственные корыстные и мелкие интересы хотя бы чуть ниже интересов народных. Поэтому и стала возможна эта трагедия, которая тяжелым грузом легла на плечи маленького Гача.

Язык у старшего Гулиа был отлично подвешен. Но Гулиа не был болтуном. Он обладал умом наблюдательным и острым, избегал в делах опрометчивости, взвешивал свои слова. Часто в зимние, свободные от полевых работ дни приглашали его на различного рода третейские суды или на сходы по примирению кровно враждующих. Урыс с удовольствием брался за подобные дела. (Надо ли подчеркивать, что все это делалось безвозмездно, в порядке, так сказать, деревенской самодеятельности, имеющей в Абхазии, как, впрочем, и во многих других местах, глубокую традицию?)

Вернувшись домой после однодневного, а то и двух-и трехдневного отсутствия, он собирал вокруг очага всю семью и приступал к обстоятельному, неторопливому рассказу. Он мастерски изображал действующих лиц. Это были своеобразные спектакли, на которые являлись и соседи.

— И неизменно, — вспоминал Дмитрий Гулиа, — он обращался ко мне с одними и теми же словами: «Слушай и все запоминай!»

Гулиа в своей «Автобиографии» писал: «Отец мой целиком доверил хозяйство жене и своим братьям.

Это был речистый и остроумный человек... Он любил и умел держать речи. По тем временам и абхазским понятиям он был общественным деятелем».

Маленький Гач слушал внимательно. Особенно привлекательными казались ему бесконечные сказы о минувшем, о великих нартах, некогда живших в Абхазии. Это были своеобразные саги, сочиненные на южной буйной земле. Не было, пожалуй, абхазской семьи, в которой не оказывалось бы способного рассказчика народных былин. А что могло быть лучше приключений сказочных богатырей нартов? Эти удивительные сказания уже имеются на русском языке, и с «Приключениями нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев» любители эпоса могут познакомиться. Для людей, переживших страшную катастрофу, каждое слово из сказаний о нартах звучало целительной музыкой. Абхазцам была известна именно такая, точно лекарственное снадобье, целебная музыка.

Взять хотя бы «Песню ранения». Мне рассказывали старики: «Когда поют ее, можно вынимать ножом любую пулю, засевшую в теле; ничего не больно! Потому что песня эта — сладкая, как мед...» Однако вернемся к нартам. Они были мужественными, храбрыми, смело бились против врагов и одерживали победы. У них была единственная сестра красавица Гуида. Но пуще сестры любили они и берегли свою Абхазию, или, как называют ее сами абхазцы, Апсны. Когда сказитель говорил о том, как просился герой Сасрыква к себе на родину, как повторял он: «Я хочу только в Апсны», — слушатели у костров чуть не рыдали. Эти рассказы не только возбуждали высокие чувства. Они укрепляли сердца, вселяли веру: после них легче ходилось за сохой, легче дышалось. После них пробуждались новые надежды и зорче глядели глаза. Один эпизод из нартских сказаний, может быть, лучше любой формулировки объяснит нам смысл махаджирства...

Сасрыква попадает в безлюдную, но прекрасную страну. И спрашивает старуху:

— Где же люди этих мест? И почему они оставили свою чудесную землю?

— Ты прав, — сказала старуха, — земля наша чудесна. Но жить здесь неумоготу.

И все-таки, повторяю, махаджирство, так, как оно проходило на Кавказе, — загадка. Ибо прав Сасрыква, удивленно воскликнувший:

— Неужели среди людей этой земли не нашлось ни одного мужчины?

Но, кажется, мы об этом уже говорили...

Однажды Урыс привел своего сына в неописуемый восторг. Он пропел ему двустишие, которое звучало так: «Тураа-пха иаша-ду, казакина джиба ду». Смысл был прост и непритязателен: «У великой сестры Тураа казакин с огромным карманом». Урыс снова пропел песенку. Восторгу Гача не было конца. Это же удивительно: простые слова, сложенные на редкость складно! Их можно не только петь. Они не теряют своей прелести, если даже их произносить просто так, без пения. Это двустишие Урыс «привез» из поездки в село Кутол, куда он ездил мирить двух враждующих кровников. Двустишие отлично укладывалось в голове. Оно как бы само собой запоминалось. Вероятно, это были первые стихи, которые выучил наизусть маленький Гач. Но это были не единственные складные слова. А вот еще: «Яйрума, шугярума? Иару-мару шугярума? Иарманыва куарчарума?» В общем все это было чрезвычайно удивительно. Удивительней лунных затмений, когда мужчины палили из кремневок, чтобы освободить луну из пасти чудовища...

Отец часто отсутствовал, мать была занята с младшим ребенком

(после возвращения семьи из Турции родилась дочь Екатерина). Кто же возился с Гачем? Разумеется, бабушка Фындык. Она обшивала и обстирывала внука, рассказывала ему сказки, а то и песни пела. Словом, делала все, что положено делать сердобольной бабушке, воспитывающей любимого внука. Дмитрий Гулиа писал о ней: «Это была крепкого здоровья, исключительно волевая женщина. Голос у нее был звонкий и властный. Но я не боялся ее. Куда она — туда и я». Он тянулся за нею всюду, словно хвост. И иногда, когда внук спрашивал у нее: «Куда ты идешь?» — бабушка Фындык отвечала в сердцах: «Разве не видишь куда? В Египет!» — «И я, и я с тобой!» — кричал Гач и бежал за нею. «Египтом» очень часто оказывался соседский двор, где не раз бывал Гач, и тем не менее он с удовольствием мчался туда. А как же иначе? Куда бабушка, туда и он!

Русско-турецкая война окончилась. В Абхазии наступило относительное спокойствие. Улетучился страх перед вторжением войск султана. На картах появился Сухумский военный отдел, входивший в Кутаисскую губернию. «Самостоятельное» абхазское княжество было окончательно уничтожено еще задолго до войны. Последний владетельный князь Михаил Чачба, преданный остракизму, умер в Воронеже. Во главе округа стали генералы, чьи взгляды мало чем отличались от взглядов английских колонизаторов прошлого века, которых обессмертил Редьярд Киплинг. Абхазия для них была трофеем, землей, завоеванной силой оружия; абхазцы — туземным населением. Несли все-таки вершились добрые дела, то правители к ним мало были причастны. Все это делалось скорее вопреки их воле или же при «равнодушном попустительстве» с их стороны, но зато при помощи многих русских интеллигентов. В 1863 году, например, была открыта в Сухуме горская школа, так называемая двухклассная. Двум основным классам предшествовали три подготовительных, итого — пять лет обучения. При школе имелся интернат. Это было одно из первых каменных зданий в Сухуме после того, как из города во времена махаджирства выселились абхазцы, а город был сожжен и разрушен. Профессор Остроумов построил большую больницу. Ботаники прилежно ухаживали за садом, заложенным еще Раевским; другом Пушкина...

Урыс Гулиа, как и большинство абхазских крестьян, был неграмотен. Может быть, именно поэтому он стал подумывать о том, чтоб дать своему сыну хотя бы небольшое образование. Во всяком случае, эта мысль не могла не прийти ему в голову в те минуты, когда он наблюдал, как

заискивали крестьяне перед сельским писцом, сочинявшим различные деловые бумаги. Для семьи было полной неожиданностью, когда Урыс, греясь у очага, заявил, что надо подумать о грамоте... Он не досказал. Однако мать и бабушка заволновались. Ясно же было, для кого грамота, — для Гача. А это может грозить разлукой с ним!

Бабушка прижала к себе внука. У матери на глазах блеснули слезы. Один Гач чувствовал себя героем.

— Да, — сказал Урыс, — надо, чтобы сын наш был грамотным. Чтобы кое-что умел на бумаге царапать.

— А зачем? — спросила мать.

— Может быть, станет писарем... — ответил Урыс.

— Ты всегда что-нибудь да придумаешь... Не можешь без этого!

Урыс успокоил ее:

— Он пока никуда не поедет. Наш священник грамотный. Вот у него и поучится.

Женщины облегченно вздохнули.

Так Дмитрий Гулиа стал учиться грамоте у сельского священника.

Как выяснилось, обучаться по-абхазски было невозможно.

— Не придумали еще алфавита, — пробасил священник.

Он оказался плохо осведомленным в этом вопросе. А иначе он знал бы, что еще в 1862 году генерал-майор Петр Карлович Услар изобрел абхазский алфавит и даже составил грамматику абхазского языка. Вот что писал по этому поводу Дмитрий Гулиа: «Первая попытка изобразить абхазские... знаки принадлежит Петру Карловичу Услару». Через три года особая комиссия под руководством генерала Бартоломея обнародовала еще один вариант абхазской азбуки. Бартоломей оказался объективно мыслящим ученым. Сравнив две азбуки, усларовскую и свою, он написал: «Комиссия пришла к убеждению, что составленная генерал-майором Усларом азбука более соответствует точному выражению звуков абхазского языка». Не думаю, что это признание обошлось Бартоломею без некоторой душевной борьбы, ибо он и Услар в то время соперничали в кавказской лингвистике. Тем больше чести Бартоломею! Что же до Услара, поясним для непосвященных: это был великий лингвист. Он изучил более десятка кавказских языков и составил для них грамматику. Но иногда на изучение одного языка времени у него было в обрез. Так случилось, например, с абхазским. Усларзнакомился с этим языком всего месяц с небольшим. За это время очень трудно изучить язык досконально. И тем не менее работы Услара — явление выдающееся. Это не раз подчеркивал Гулиа. Нам еще представится возможность вернуться к этому вопросу, ибо в составлении

новой абхазской азбуки принимал участие Дмитрий Гулиа...

А пока маленький Гач бегло читал русские и грузинские церковные книги. Отец купил сыну в городе несколько книжечек «светского содержания». Много из того, что там в них было напечатано, Гач выучил наизусть. Что же учил он назубок на заре своей жизни? Например: «Вечер был. Сверкали звезды, на дворе мороз трещал...» Это про бедного сироту, которого приютила старушка. Особенно нравилась мальчику концовка: «Спокойный сон!.. Петерсон». Он не понимал тогда, что Петерсон стоит не ради благозвучия (сон — Петерсон), а что это фамилия автора стихотворения. Учил он «Пахнет сеном над лугами...» и «Посмотрю пойду, полюбуюсь, что послал господь за труды людям» Алексея Кольцова. Знал Дмитрий Гулиа стихи Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели и впоследствии не раз переводил их на абхазский язык.

Наконец Урыс Гулиа принял важное решение: мальчика следует послать на учение в Сухум. Мысль об этом, высказанная вслух, снова вызвала в семье переполох. Братья Урыса одобрили его намерение. Женская же часть семьи буквально восстала.

— Не отдам его! — заявила мать, вдруг выказав упорство.

Это было на нее не похоже. «Мать моя Рабиа, — писал Дмитрий Гулиа, — была кроткой, рассудительной женщиной». Бабушка тотчас же приняла сторону матери. Гач молчал и только улыбался про себя: он понимал, что отец все равно возьмет верх, все равно не миновать поездки в далекий Сухум, который, казалось, находился на самом краю света.

Семейный совет был долгим, неторопливым и обстоятельным. Каковы были доводы «за»?

Мальчик, бог даст, станет ученым человеком и сможет устроиться писарем в сельское управление Адзюбжи или любого ближайшего села. Такая перспектива — счастье для крестьянского сына.

Если даже не суждено будет ему стать писарем, может, пробьется в торговцы, станет работать при каком-нибудь купце в Очемчирах.

На худой конец, ежели не удастся ни то, ни другое, будет сам для себя или для соседей своих прошения и разные там бумаги писать, что тоже не бесполезно для крестьянина...

Но были мнения и «против».

Во-первых, мальчика увезут далеко (куда-то верст за двадцать). Во-вторых, работа в Очемчирах — совсем не сахар. И туда, пожалуй, лежит дорога тоже не короче двадцати верст. В-третьих, он может испортить себе глаза — вон они какие маленькие, буковки. Все грамотеи, как правило,

люди болезненные. А кому нужна хворь?

Урыс хранил красноречие до поры до времени. Весьма возможно, что ему самому необходимо было выслушать все доводы — пусть противоречивые, — чтобы вернее решить вопрос для себя, чтобы кое в каких мнениях утвердиться и самому.

До поздней ночи шевелились тени на стенах избышки, отапливаемой по-черному. Один голос сменял другой. Один довод противопоставлялся другому. Урыс ковырял палкой в золе и слушал внимательно. Когда все выговорились, а бабушка и мать выплакали глаза, Урыс сказал:

— Здесь много было говорено. Каждый высказал то, что думал. Это так и положено. Я хочу напомнить, что пора отходить ко сну, ибо завтра едем в город. Вместе с Гачем.

Споры прекратились. Было подано горячее молоко с холодной мамалыгой, и вскоре в доме стало тихо. Уснули все, кроме двух женщин. Недоставало им слов, чтобы выразить свое отчаяние. Они плакали. Представьте себе, плакала даже бабушка, которая, казалось, в твердости характера не уступала мужчинам.

На следующее утро двое мужчин уехали в город. «Отец посадил меня с собою в седло, — писал Дмитрий Гулиа, — я крепко ухватился за отцовский пояс, и мы отправились в Сухум. Мне было тогда девять лет, а год стоял тысяча восемьсот восемьдесят третий». Гач не глядел назад, чтобы не расплакаться: он знал, что мать и бабушка заливаются горячими слезами. Однако Урыс был непреклонен: он торопил коня.

Эта поездка в город описана Дмитрием Гулиа в рассказе «Как я поступал в школу». Нет смысла пересказывать его. Проще всего с ним познакомиться. «Три года подряд отец возил меня в Сухум», — писал Гулиа. Возвращение Гача домой с пустыми руками было каждый раз праздником для матери и бабушки. Маленького Гача всячески ласкали, целовали, на него не могли наглядеться. Но понемногу начали появляться и нотки огорчения. Дескать, что же это? Неужели наш мальчик так и не поступит в школу? Ведь все же знают на селе, что Урыс повез его в город. Повез раз — вернулся ни с чем. Повез во второй раз — результат тот же! Что же это, сорвется и в третий? Как ни грустно расставание с мальчиком, а все же с самолюбием тоже надо считаться. Или не надо было браться за это дело, если так трудно с ним справиться, или следует добиться своего...

Разумеется, не так-то просто было устроить в интернат крестьянского мальчика, за которого никто, кроме отца, не хлопотал. Урыс, видимо, был не из ловких людей, все больше надеялся на «законное основание». То он будто бы нс вовремя мальчика привез, то не хватало каких-то бумаг, то мест

вакантных не оказывалось. Какая-то чертовщина!

Урыс, несомненно, был упорен. Эта его черта передалась и сыну. Она не раз выручала там, где не хватало, как говорится, счастья. Гач научился делать счастье собственными руками. Без этого существенного качества характера он многого просто не достиг бы при всем желании.

Через три года Урыс все-таки перешиб упрямство привередливого школьного начальства и в один прекрасный день вернулся домой без мальчика.

— Где Гач? — спросила его Рабиа.

Урыс был весел:

— Я оставил его среди сверстников, очень шустрых мальчуганов. Они все время играют в мяч, истошно кричат и бегают по двору. Твой сын очень доволен.

— А чем его будут кормить? — спросила бабушка. — Он же очень любит холодную мамалыгу с молоком.

— Вот этого я не знаю. Но могу сообщить нечто приятное: дважды на день — утром и вечером — он будет хлебать чай с белоснежным сахаром!

Это успокоило старуху. Чай в деревне пили только больные: он считался напитком дорогим, как и лимонад.

— Неужели два раза на день? — недоверчиво допытывалась бабушка.

— Это так, — сказал Урыс. — Могу сказать больше: завтра его оденут прямо-таки по-княжески. Одна пряжка на его поясе стоит всего одеяния: она блесит, будто луна.

Как ни ныло сердце, а маленький Гач все-таки в школе! Добился-таки Урыс своего, теперь он смело может глядеть в глаза односельчанам. А то, что по углам шепчутся, будто не пожалел он своего сына, это пускай: скоро все убедятся, кто больше пожалел сына, — он, оторвав его от себя и отправив в город, или те, кто держит сыновей у материнского подола. Отныне дома должны прекратиться причитания и слезы. Это же неприлично: сын жив, здоров, а по нему слезы льют. Скоро все увидят и поймут, как хорошо поступил Урыс Гулиа. Скоро, скоро... Однако Рабиа не может не сообщить того, что говорят у родников и колодцев. И Урыс спокойно выслушивает.

— Человеку не следует прыгать выше своей головы. Зачем грамота Гулиа? Чтобы потягаться с князьями или дворянами? Но для этого не с книгами надо возиться, а иметь побольше земли и скота, побольше денежек. «Вы, — говорят, — своего сына выпускаете на трудную дорогу. Подумайте только: абхазский крестьянин и — книга! Да что он с нею делать будет? Кормиться ею? Или полагаете, что нам нужен еще один

писец, кроме Коции? Нет, пока не поздно, одумайтесь! Жили мы, слава богу, и не умирали без грамоты! Куда послали сына? Где упрятали? Неужели лишним куском мамалыги поступиться не пожелали?»

Урыс насупился. Ему и без этих речей тяжело, очень тяжело. Он говорит:

— Да, я отвез единственного сына в город. Я устроил его в школу. Я надеюсь, что он выучится грамоте. Умные люди говорят, что путь этот нелегкий. Черт знает что подстерегает человека, берущегося за науку! Но поймите, без этого тоже нельзя. Пахать и сеять он всегда успеет. Я бы дорого дал за то, чтобы могли вы подсмотреть, как он там играет со своими товарищами. Ему очень весело!

Это была неправда. Мальчик понимал, что негоже снова ни с чем возвращаться в свое село: засмеют соседские дети. Но и отпускать отца тоже не хотелось. Когда же наступила минута прощания и отец поцеловал его, приложившись к сыновней щеке жесткой бородой, Гач не выдержал, расплакался. Смотритель училища вдруг расчувствовался, приласкал мальчика. Но нет, Гачу нужен был только один человек, только отец! Он один мог утешить сына, который остается среди незнакомых людей, среди незнакомых стен — толстых и холодных.

Урыс уходил и слышал за спиною плач. Вышел за ворота, не оборачиваясь. А сыну оставалось собрать силы и закричать вослед отцу:

— Мама!

Однако мать была далеко, и сын понемногу успокоился.

Дмитрий был едва ли не самый младший во всей школе. Он медленно входил в новую жизнь: перед ним постоянно маячили мать и бабушка с заплаканными глазами. Вскоре он обратил на себя внимание учеников: играя в мяч, Дмитрий проявлял сноровку и необычайную ловкость. Позднее он писал: «Я был небольшого роста, хорошего, я бы даже сказал — цветущего здоровья. Знавшие меня старики говорили, что был я необычайно подвижен и энергичен. Действительно, играя в «аймцакячара» — игра, разрешающая бить мяч ногой и брать его руками, — я неизменно приносил победу своей команде. Очень легко перепрыгивал через каменную ограду высотой почти в сажень». В августе 1889 года врач Закавказской учительской семинарии писал в «Свидетельстве»: «Дано сие сыну... Урыса Гулиа, Дмитрию, имеющему от роду 15 лет, в том, что он совершенно здоров и не имеет никаких телесных недостатков...» Впоследствии отец показывал мне школьную ограду, через которую он свободно перемахивал. Я и сам учился в этой школе в двадцатых годах и тоже пытался прыгать.

Дмитрий оказался прилежным учеником. В чистописании он не знал себе равного. Сам сшивал тетради из чистых листов бумаги, сам линовал их, готовил чернила и даже золу добывал из печи (она шла вместо промокательной бумаги). Его тетради служили образцом. Я их видел сам. Они долго хранились у нас. Во время войны, разбирая под свист немецких бомб архив отца, я случайно бросил эти тетради в грудку ненужного хлама, и они исчезли навсегда по вине пишущего эти строки.

Незаурядные способности выказал Дмитрий в пении и законе божием. Он знал назубок чуть ли не все евангелие. А что же до разучивания наизусть стихов, то здесь он был вне всякой конкуренции.

Смотритель училища давно приглядывался к маленькому краснощекому ученику. Звали смотрителя Константин Давидович Мачавариани. А еще раньше приметил Гулиа преподаватель Давид Георгиевич Аджамов.

— Что ты знаешь, кроме стихов и евангелия? — спросил его как-то Аджамов во время вечерних занятий. (В это время ученики обычно готовили уроки, заданные на дом.)

— Я знаю сказки.

— Какие же?

— Абхазские.

Аджамов пригласил Гулиа в учительскую и попросил рассказать какую-нибудь сказку. Дмитрий сделал это с большим удовольствием. По-видимому, он передавал ее довольно точно, без особой отсебятины — так, как «бабушка рассказала». Затем он спел несколько песен и заключил импровизированную самодеятельность поговоркой, подражающей щебетанию ласточки: «Цвацва цвит, цвит, цвит! Цвацва дыпсын дымгыладзэйт — хувур-пупун хучайт, хучайт, хучайт!» Смысл этих слов таков: некий злой Цвацва поймал птичку, живьем ошципал ее и выпустил на волю. Прошел год, пришла весна. Злой Цвацва умер, а у птички отросли новые перья. Об этом-то она и сообщала всему миру. Трудно в русской транскрипции передать этот «птичий говор», но по-абхазски звучит он весьма любопытно.

Аджамов пришел в восторг. Поинтересовался: много ли еще в запасе сказок у новенького ученика?

— Я знаю много, — ответил Гулиа.

— Иди спать, — сказал преподаватель, — а завтра пойдем в гости к смотрителю.

Дмитрий выбежал из учительской, громко хлопнув дверью.

— Зачем тебя вызывал дежурный? — спросили любопытствующие

друзья.

— Узнавал, что я наизусть читаю...

Поскольку весть оказалась довольно банальной, ученики вскоре улеглись в постели, продолжая зубрить стихи или правила сложения и вычитания. Ложиться спать полагалось в определенное время. Дежурный учитель обходил спальню. Немалое требовалось искусство, чтобы обмануть его бдительность и где-нибудь в полумраке продолжать зубрежку.

...Константин Давидович Мачавариани был человеком крепкого здоровья, роста выше среднего. Он родился в Абхазии, в селе Окум, если не ошибаюсь, в 1857 году. Был женат на красивой русской женщине Нине Ароновне. Со слухом у нее что-то не ладилось, однако это не так-то просто было обнаружить: удивительно точно узнавала она по губам собеседника то, что ускользало от ее ушей. Жила она с мужем душа в душу. Одно лишь горе — детей у них не было.

В субботний вечер к ним зашел учитель Аджамов. Он представил хозяевам ученика Гулиа. Дмитрий смутился, увидев стол, сервированный к ужину.

— Я тебя немного знаю, — сказал Константин Давидович. — А ты меня знаешь?

Еще бы не знать грозного бородатого смотрителя! Его страшно боялись все ученики, даже старшеклассники. Он принимал Дмитрия в школу, и невозможно было позабыть те минуты, когда решалась судьба юного абхазца.

— Садитесь, дорогие гости, — певуче пригласила Нина Ароновна.

Мачавариани усадил Гулиа между собой и женой, а напротив их занял место Аджамов. Дмитрий был сыт, но ел из вежливости. А вот когда дело дошло до чая и вкусного яблочного пирога, тут Дмитрий начал действовать челюстями с большим усердием, как лесной зверек. За ужином Нина Ароновна потчевала ученика по-матерински нежно, предлагая то одно, то другое. Мачавариани подбадривал его:

— Ешь, не стесняйся, ведь ты же джигит.

После ужина Мачавариани попросил Дмитрия рассказать ту самую сказку, которую уже слышал Аджамов. Константин Давидович незаметно взял тетрадь и карандаш.

Так было положено начало записям абхазских сказок, которые публиковались затем в «Материалах по описанию местностей и племен Кавказа». Впервые в этих сборниках прочел Дмитрий Гулиа свою фамилию. Он, можно сказать, предстал в качестве сказителя. Однако важнее другое. Здесь, в горской школе, в дождливые зимние вечера

началась дружба между зрителем и учеником школы.

Первый был старше второго по крайней мере лет на семнадцать. Что же так заинтересовало зрителя в юном ученике? Надо полагать, что возник творческий интерес к ученику, без труда рассказывавшему одну сказку за другой, родилась нежность к этому милому, бойкому существу с горящими глазами и чистым, как родник, лицом. Дело дошло до того, что Нина Ароновна выразила желание усыновить мальчика. Можете вообразить себе, как на это реагировали в Адзюбже, если в тот же час, как только донесся об этом слух, на взмыленном коне прискакал в Сухум, в школу, Урыс Гулиа. (То же самое повторилось и в другой раз, когда Гулиа пожелала усыновить какая-то богатая генеральша.) Урыса в общем успокоили, и он на каникулы привез мальчика в Адзюбжу.

Лето Дмитрий проводил по-особому, не так, как остальные ученики. Он вслушивался в рассказы стариков. Тетрадь и свинцовый карандаш, подаренные Мачавариани, часто появлялись в его руках, вызывая неподдельную гордость домашних.

Ученическая форма сменялась дома на более удобную, с точки зрения бабушки, одежду: черкеску и бешмет. Бабушка сама шила для внука шелковые архалуки, а черкеску заказывали в Очемчирах.

Отец часто брал сына с собою в гости — «выводил в люди». Жизненные горизонты Дмитрия понемногу расширялись. Он видел людское горе на похоронах, слышал жалобы крестьян на князей и дворян, сочувствовал тем, у кого воры уводили быка, лошадь или буйвола.

Воровство в то время было огромным бедствием. Оно имело под собой социальную подоплеку и к тому же освящалось давней традицией. Воровство, поощряемое и направляемое князьями и дворянами, служило орудием устрашения непокорных крестьян. Чуть, скажем, отбилсЯ крестьянин от рук, «позабыл» вовремя «отблагодарить» своих покровителей-князей — прощайся с быком или лошадью, впредь поумнее будешь! Это было зло, которое вторгалось в святая святых крестьянского хозяйства. И в то же время кличка «вор» ассоциировалась с героическим поступком. Что такое настоящий мужчина, если он не вор? Украсть коня, буйвола или быка считалось подвигом, ибо покушавшийся на чужое добро подвергал себя немалой опасности, а подчас и смертельной. Взять, к примеру, одного из соседей Гулиа — Чориа. Он собрал своих братьев, чтобы обсудить «некое молодечество», а именно: в соседнем селе Киндг есть изумительный конь арабской породы; нельзя ли выкрасть его? Подробное обсуждение показало, что коня того берегут пуще глаза, на ночь запирают чуть ли не в теплую кухню, где спит сам хозяин. Но разве

трудности — преграда для настоящих джигитов? Чориа решил прихватить в ночной поход своего сына Дгура: если дверь будет заперта, ее откроет юный Дгур. Сказано — сделано.

Ночною порой четыре джигита с изодранными полами черкесок (высший знак героических походов среди колючих лесных зарослей) двинулись на конях в Киндг. У одного из них за спиною примостился Дгур, пылавший желанием отличиться в этой ночной операции...

Тускло светит луна. Спит село Киндг. Спит и счастливый обладатель арабского коня.

Первое прощупывание обстановки, первая осторожная разведка. Выясняется, что коня на дворе нет. Значит, он там, в маленькой хижине, которая окошечком глядит на лес... Да, конь в хижине, он беспокойно бьет копытом. Ленивая собака дрыхнет, как и хозяин.

Дверь на запоре — значит, дело за Дгуром. Его сажают на шест, как на деревянного коня, и просовывают в окно, благо мальчишка мал и легкий.

И Дгур опускается прямо... на горячую золу очага. Нужна была огромная выдержка будущего джигита, чтобы не вскрикнуть.

Мальчик сообразил, что делать: преодолевая боль, осторожно открыл дверь и вывел коня во двор под несмолкаемый храп хозяина... Вот уж похитители на конях, вот уж собираются они в обратный путь, но тут, словно по наитию, просыпается хозяин и посылает им вдогонку несколько пуль. И вот результат: Чориа ранен, ранен еще один из воров, но тем не менее добыча уведена и скрыта в лесной чащобе...

Дмитрий наблюдает за тем, как под рождество чуть ли не все село идет на поклонение к князю Чачба. Видит, как с горечью отрывает крестьянин от сердца своего каплуна или козленка, чтобы поднести князю. Только редкие гордецы смеют уклониться от этого традиционного выражения благолепия и преданности князю. Однако гордецы часто расплачиваются за «чрезмерное выпячивание» своей особы. Таких разоряют воры — княжеские приспешники, или просто этим гордецам всаживают «случайную» пулю.

Чем старше становится Дмитрий, тем сильнее отдаются болью в его сердце скорбь и унижение крестьянина, его горькая доля. И настанет пора, когда он, Дмитрий Гулиа, начнет борьбу за справедливость, и самым сильным оружием его будет поэзия...

Бенвенуто Челлини — этот замечательный скульптор и человек — писал, что тот, кто «прожил интересную жизнь, достойную внимания других, должен сам описать свою жизнь». Челлини это сделал с

неподражаемым блеском. И самое главное в его книге — непосредственность повествования. Я полагаю, что Дмитрий Гулиа принес бы большую пользу, если бы сам написал о себе книгу. Человек, имя которого, по словам Виссариона Саянова, «дорого каждому деятелю советской культуры», мог бы не ограничиваться скромной «Автобиографией». Но он слишком был занят другими, по его разумению более важными, делами. Ему не хватало даже суток. Василий Коротеев писал: «Дмитрию Иосифовичу Гулиа уже за восемьдесят. У него за плечами долгая и нелегкая жизнь. Она может быть замечательным примером для молодых». Эти строчки читал Дмитрий Гулиа. Он даже сел было за описание своей жизни. Теперь, когда пишутся эти строки, автор их сожалеет о том, что не проявил должной настойчивости вместе со своими друзьями, и, может быть, поэтому нет перед нами книги о Дмитрие Гулиа, написанной им самим.

Однажды Гулиа, уже будучи учеником первого класса, обратился к Мачавариани с таким вопросом:

— Константин Давидович, я давно хочу знать, можно ли писать по-абхазски? Я бы записывал песни и сказки. В деревнях знают также очень много сказаний.

Разговор происходил на квартире Мачавариани. Тот молча подошел к книжному шкафу и извлек из него две книжки.

— Вот, — сказал Мачавариани, — одна книжка с усларовским алфавитом, а другая — бартоломеевский букварь. Познакомься с ними на досуге, а потом мы снова вернемся к твоему вопросу.

После нескольких дней кропотливого труда Гулиа стало ясно: существуют два абхазских алфавита, но никто ими не пользуется, никто по этим книжкам не учится.

Мачавариани сказал, что Услар и Бартоломей, особенно первый, — крупные лингвисты. Они изобразили абхазские слова абхазскими буквами. Но нельзя считать, что алфавиты эти без изъянов.

— А что, у нас никогда не было своей письменности? — спросил ученик.

— По-видимому, нет, — ответил смотритель. — Во всяком случае, история умалчивает об этом. Скажи мне, Дмитрий, что ты знаешь об Абхазии вообще?

— Ничего.

— А надо бы кое-что знать. Я имею в виду ее историю.

Мачавариани вручил Гулиа кипу рукописей. Это были старательно

сделанные выписки из различных книг.

— Они всегда лежат здесь, на этом столе, — сказал Мачавариани, — ты можешь читать их. То есть я полагаю, что ты непременно должен их прочитать. Ты кое-что поймешь, а что будет тебе неясно, объясню я сам.

Дмитрий, не теряя времени, приступил к чтению. Это были отрывочные сведения об Абхазии с древнейших времен. Геродот, например, утверждал, что колхи — выходцы из Египта. В этом, дескать, Геродот убедился, сравнивая различные обычаи колхов и египтян. И там и здесь, писал Геродот, лен обрабатывают одинаковым способом... Были здесь и иные свидетельства многих других ученых.

В течение нескольких вечеров Дмитрий одолел все рукописи.

Из прочитанного напрашивался один-единственный достоверный вывод: история Абхазии темна, не изучена, малоизвестна. Дмитрий пытался уяснить себе: кто же такие абхазцы, откуда они явились в эти прекрасные места? А может быть, они тут и жили с самого сотворения мира? Найти окончательный ответ на эти вопросы было невозможно.

Мачавариани сказал:

— Да, ты все понял верно: история Абхазии совершенно неизвестна. Я собрал лишь некоторые свидетельства историков и географов. Но это только первый шаг. Нужно очень много поработать, нужно прочитать много книг, прежде чем напишется эта история. Я думаю, не скоро появится отважный смельчак, который решится на это дело?

— А вы? — воскликнул Дмитрий.

— О нет, — улыбнулся Константин Давидович, — я только собираю материалы для путеводителя по Абхазии. А история — дело слишком трудное.

Как-то Дмитрий приехал в деревню на каникулы. Весь Кодорский участок трясло, будто в лихорадке. Всех заботила история крестьянина, который принял на себя вину князя и был сослан в Сибирь, где, несомненно, погибнет. «Он вовсе не виновен», — говорили люди сведущие. «Пропал ни за что ни про что», — твердили другие. Многие сходились на одном: «Залихватское молодечество губит человека. Хотел показаться героем — расхлебывай кашу!» Дело было громкое, хотя подобное было не внове. Суть его состояла в следующем.

У одного из князей Ачба опознали коня, уведенного полгода тому назад от князей Маршан. Нашла, как говорится, коса на камень. Маршаны толкнулись, и притом весьма настойчиво, в суд, к самому начальнику округа. Замять дело не удалось. Стало быть, держи ответ, князь Ачба! Но

что значит отвечать? В тюрьму садиться, что ли? Да коли по закону, то и в тюрьму!.. Одним словом, крепко задумался Ачба, посоветовался со своими. Было признано, что надо кому-нибудь из близких князя взять вину на себя. Дескать, виноват, коня украл я, а князь тут ни при чем!.. Все как будто задумано верно, но кто же возьмет вину на себя? Кто-нибудь из князей Ачба? Как бы не так! Кто же?

— Дело ясное, — подсказал кто-то, — надо замешать в это дело кого-нибудь из крестьян, из воспитанников князя. Пусть-ка порадеет за господина не на словах, а на деле.

И вскоре на сцене появился крестьянин по фамилии Доуа, который и принял всю вину на себя. Думали, Доуа сознается, что выкрал коня, и, возможно, посидит немного в тюрьме, пока идет дознание. Но его выручит высокий покровитель (князь Ачба торжественно поклялся в этом). И надо сказать, что все шло гладко до того момента, как осудили Доуа. Его приговорили к вечному поселению в Сибири, что в то время было равносильно смерти. А князь Ачба не ударил и палец о палец: то ли не смог, то ли попросту не захотел, решив, что так будет спокойнее.

У очагов шли бесконечные пересуды о том, кто прав, а кто виноват. Одни проклинали князя, другие корили крестьянина за глупость: дескать, так дураку и надо, не бери на себя чужой вины, не подставляй спину вместо богатого дяди. Разумеется, не могла оставаться в стороне и семья Урыса Гулиа. Разговоры начинались здесь с сумерками и продолжались до полуночи. Урыс неизменно приговаривал, обращаясь к сыну:

— Слушай и не забывай.

В доме было прибавление: после сестры Екатерины родился еще один сын — по крещению Иван (Лут — как называли его в кругу семьи). Неподалеку поселились братья Урыса, а из села Тамш часто наезжали родственники со стороны Рабии — Барганджиевы. Так или иначе гости за очагом не переводились...

Урыс держался того мнения, что дело с этим самым Доуа не столь уж простое, как это может показаться на первый взгляд. Иные называют несчастного крестьянина дураком. А почему? Потому, что вызвался помочь князю? Но ведь Доуа искренне считает этого Ачба своим родственником...

Дмитрий слушал внимательно. Он не мог постичь премудрости с родством крестьянина и князя. Но без этого не разберешься в событии, волнующем, можно сказать, всю Абхазию...

— Значит, так, — говорил Урыс, — Доуа воспитали этого Ачба. Родство, стало быть, налицо.

— Да, — соглашались с ним, — это несомненно.

— Что несомненно?
— Родство.
— Это еще не объяснение. Слово это недостаточно весомо в данном случае. Это настоящие братья! Верно говорю? Ведь такое у нас понимание?
— Да, верно.
— В этом совершенно убежден и сам Доуа!
— Верно.
— Ему не приходилось задумываться над тем, как относится к этому родству сам князь. Важно одно: князь кажется ему братом. Таков наш обычай усыновления.
— Это верно.
— Так почему же вы ругаете Доуа? При чем он?
— А кто же при чем?
— Кто? — Урыс обводит всех пытливым взглядом. — Кто? Обычай наш! В нем вся загвоздка! Все мы повинны!
— Обычай обычаем, — отвечают ему не без резона, — однако голову-то надо иметь на плечах?

Это происшествие глубоко запало в юную душу Гулиа. Оно заставило его острее присматриваться к окружающему, пробудило в нем неистребимую любовь и уважение к абхазскому крестьянину, опутанному сетью множества нелепых обычаев и со всех сторон теснимому бедностью и темнотой. Пройдет много лет, и он найдет соответствующие слова и образы, чтобы описать гибель молодчаги-простачка. И слова поэта будут вызывать у слушателей гнев и слезы. А пока, до поры до времени, он засучив рукава попытается помочь крестьянину в его повседневной нужде, в его ежечасных страданиях. Это будет нелегкая, мучительная борьба. Это будет борьба за каждого человека. И это станет прелюдией для более широкой деятельности на благо абхазского народа...

— Скоро ты окончишь школу, — сказал Мачавариани.
Дмитрий молча кивнул.
— Каковы же твои намерения?
Дмитрий пожал плечами.
— Можно устроиться в школу садоводства...
Дмитрий молчал.
— Можно попытаться, скажем, попасть в какую-нибудь коммерческую школу.
Дмитрий почтительно слушал.
— Если спросишь меня, я советую тебе идти в учительскую

семинарию. Я полагаю, что лучшая из них — Закавказская.

Нина Ароновна поддержала мужа Мачавариани:

— Почему я советую стать учителем? Я полагаю, что это вполне ясно. Абхазия нуждается в грамотных людях. Более того: ей необходимы именно учителя, которые понесут вперед светоч знания и на ниве народного просвещения покажут себя подлинными героями. Не теми героями, которые хорошо стреляют и воруют, не теми, которые молодецки пьют вино или обжираются на пиршествах. А героями больших начинаний, героями-учителями, шагающими в гущу народную.

Мачавариани был в ударе: он говорил страстно, как проповедник. Нина Ароновна, привыкшая к пылкому характеру мужа, тем не менее с удивлением глядела на него.

— Ты настоящий Цицерон! — сказала она без иронии.

Он улыбнулся.

— Я просто заболтался. Ну, надо ли так долго убеждать нашего Дмитрия? Он и сам знает, что делать.

— А что скажет отец? — спросил Дмитрий.

Мачавариани пожал плечами:

— Постараемся убедить его. Но при всех обстоятельствах я буду форменным образом драться за тебя. У тебя есть способности, и я не разрешу погасить их в Адзюбже или другом каком-нибудь селе.

— Я поговорю с отцом, — сказал Дмитрий.

— Ну и прекрасно! — вставила словечко Нина Ароновна. — А теперь я предлагаю вам обоим загадку.

Мачавариани повернулся к ней.

— Что это еще за загадка такая?

— А вот слушайте: мы можем считать до сколько угодно, а кошка?..

— Кто?

— Наша кошка...

Мачавариани развел руками.

— Бог знает, что ты спрашиваешь! Этого никто не угадает.

— И ты? — обратилась к юноше Нина Ароновна. Дмитрий отрицательно замотал головой.

— Разве кошки считают?

— Да, считают. Но у них счет невелик.

— Нина, — сказал муж, — неужели ты определила математические способности нашей кошки?

— Определила.

— До скольких же она способна считать?

— До трех!

Мужчины захохотали. Как же это проверить? И как это определила Нина Ароновна?

— А очень просто, — объяснила она. — Нынче весь день я была одна. И чтобы развеять скуку, я проделала небольшой опыт. У нашей кошки пять котят.

— Верно, — подтвердил Мачавариани, — пять.

— Я спрятала их, когда кошка куда-то убралась по своим кошачьим делам. Она вернулась и давай мяукать. Заливается слезами, истошно плачет. Тут я достала одного котенка и посадила на место. Облизала кошка детеныша и продолжает мяукать. Я выдала ей второго. А она все мяукает. Мечется по комнате. Я достала из шкафа третьего. Кошка-дура и успокоилась. Замурлыкала, облизала всех трех, улеглась рядом и давай потягиваться и зевать. Вот и все! Значит, наша кошка умеет считать до трех. А когда я достала и остальных котят и уложила их рядом на полу, кошка не особенно и обрадовалась. Она даже удивилась.

— Ловко придуман опыт, — сказал Мачавариани.

Дмитрий был в восторге. Он все это запомнит и непременно расскажет своим. Спустя много лет он включит этот эпизод в свои «Короткие рассказы», пересыпанные задорным абхазским юмором...

На руках у Рабии было два малыша. А первенец собирался в какой-то неведомый и далекий путь. Никого в семье так не удручала эта весть, как ее. Она никогда не слышала об этом далеком городе. Она не знала учебного заведения, куда едет Гач, и не очень хорошо представляла себе, зачем все это нужно. Разве не до конца постиг ее сын науку?

В эту ночь перед его отъездом она легла рядом с ним и долго ласкала, словно маленького. И уже не только сердцем, но и разумом постигал Дмитрий чудесный смысл великих слов Парацельса, писавшего, что «ребенку не нужны созвездия и планеты», якобы, по учению астрологов, предопределяющие судьбы человека. Для ребенка «мать является... планетой и звездой».

Бабушка на этот раз отнеслась к бурному проявлению материнской ласки с некоторым неодобрением. Она считала, что мужчина не должен поддаваться размягчающему влиянию женской ласки. Но, прощаясь с внуком, разрыдалась.

— Увидишь ли ты меня живою? — проговорила бабушка Фындык.

И в самом деле: каждый раз, приезжая в село, Дмитрий кого-нибудь да недосчитывался. Уходили люди, уходили и старые и молодые. Где же

гарантия, что он застанет в живых всех домашних? Садясь в дилижанс, Дмитрий в последний раз обернулся, чтобы мысленно проститься со своими. Отец стоял, в волнении покручивая ус, мать и бабушка плакали, как и тогда, пять лет назад, прижав к губам уголки головных платков. Пытка была невыносима, и Дмитрий вскочил в дилижанс.

Так началось путешествие в еще одну новую жизнь.

В городок Гори, где находилась Закавказская учительская семинария, можно было ехать на дилижансе (верст двести), с тем чтобы затем пересесть на поезд сравнительно недавно построенной Закавказской железной дороги. А можно было и морем до Батума, а потом из Батума опять же на поезде. Был выбран второй путь.

Константин Давидович Мачавариани затребовал документ об окончании Гулиа двухклассной горской школы. Внимательно прочитал его, а затем почему-то переписал заново. Он переписал все, как было, за исключением одного: вместо пятерки по пению поставил «четыре». Круглый пятерочник Дмитрий Гулиа оказался с одной четверкой как раз по тому предмету, в котором он отличался более всех прочих учеников. Он пел в церковном хоре, и регент всегда хвалил его, ставил в пример.

— Что это? — спросил Гулиа смотрителя, указывая на единственную четверку в аттестате.

Мачавариани улыбнулся.

— Так надо. Ты это поймешь там, на экзаменах.

Он вручил Дмитрию новый документ, оформленный по всем правилам, и они пошли проститься с Ниной Ароновной.

— Учись, Дмитрий, — говорил, идя через двор к себе на квартиру, Константин Давидович, — вернешься — составим абхазский букварь. Согласен?

— Я сделаю все, что могу! — пылко ответил Гулиа.

Добрейшая Нина Ароновна вручила ему на дорогу гостинцы, и растроганный юноша побрел на набережную, чтобы сесть на пароход и плыть морем, по которому он уже плавал несчастным махаджиром.

Маленький абхазец благополучно прибыл в Гори. Наверное, все показалось бы мрачнее, если бы он не встретил здесь своего земляка Николая Джанашиа, будущего автора любопытных работ по этнографии Абхазии. Николай был старше Дмитрия на несколько лет, уже учился в семинарии и тотчас же, как мы выражаемся, взял над ним шефство. Молодой покровитель был человеком мягкой души и верным товарищем.

Спустя много лет, когда нашей семье было очень тяжело, я хорошо запомнил его серую мерлушковую шапку и ясную улыбку, запомнил я и тот лень, когда хоронили его и накрапывал дождь. Мы, дети Дмитрия Гулиа, стояли у ворот и слышали, как сказала соседка: «Когда умирает хороший человек, природа всегда плачет...»

Первое впечатление от семинарии было устрашающим. Огромный двор полон усатых мужчин и гудит, точно пчелиный улей. Мужчины громко разговаривают и смеются. У Дмитрия екнуло сердце, когда ему сказали, что все эти люди желают поступить в семинарию, а будет принята только десятая часть. Может, и того меньше...

Николай не отступал от Дмитрия. Все время был рядом. Вспоминая об этих днях приемных испытаний, Гулиа с особым чувством неизменно подчеркивал товарищескую внимательность Николая, казавшегося ему Вергилием в адском водовороте семинарских экзаменов.

Первый день — день проверки состояния здоровья. Молодые люди скопом шли в комнату врачебной комиссии и выходили оттуда, не ведая результата. Все выяснится только на следующий день.

— Многих не допустят, — с уверенностью сказал Николай. — Но ты не бойся, ты же крепыш.

И действительно: наутро двор наполовину опустел. Ура! Дмитрий оставлен в списке.

— Я же говорил, — сказал Николай, — что здоровье у тебя крепкое. А теперь держись! Сегодня будут испытания по пению.

«Я отличался в церковном хоре, — писал Гулиа, — и это испытание не очень-то пугало меня». Заметьте, не очень-то... А поджилки у Дмитрия все-таки тряслись, когда он предстал перед комиссией, точно высеченной из монолитного камня. Члены комиссии казались бесчувственными, особенно ее председатель — усатый мужчина с крестами на груди.

— Имя твое и фамилия? — спросил он.

— Дмитрий Иосифович Гулиа, — звонко провозгласил Дмитрий. Он стоял розовый, с ястребиными глазами и руки по швам.

— Ну-с, — сказал председатель, — пропой нам всю гамму.

Невзрачный человечек в сюртуке ударил камертоном о краешек стола, накрытого зеленым сукном.

— До-ре-ми-фа-соль-ля-си-и-и-и!.. Си-ля-соль... — пропел Гулиа.

Председатель глянул на отметку по пению. «Голос у этого мальчика недурен», — подумал он, а вслух предложил:

— Спой-ка «Отче наш».

Комиссия выслушала «Отче наш». Председатель пожал плечами и

наклонился к членам комиссии, шепча им что-то на ухо. Вот что, по свидетельству Гулиа, сказал в заключение председатель громко, чтобы все его слышали:

— Странная эта четверка. Гулиа достоин «пяти с плюсом». Смотритель школы, как видно, слишком взыскательный. Думаю, и по остальным предметам этот юноша преуспевает не хуже, чем по пению.

Николай был в восторге.

— Дмитрий, главное для поступления — здоровье и голос! Это самое трудное испытание. Знай же, скоро ты станешь семинаристом!

Любопытно прошел устный экзамен по литературе.

— Что ты можешь прочесть наизусть? — спросил председатель комиссии.

— Я знаю Пушкина, Кольцова, Никитина, — отчеканил Гулиа.

— Хорошо, хорошо. Ну, а еще что?

— Я знаю «Сироту».

— «Сироту»?

«Вечер был. Сверкали звезды, на дворе мороз трещал...»

— Читай, Гулиа.

Дмитрий прочитал стихотворение так, словно его слушала по крайней мере половина человечества: громко, четко, «с выражением» и соответствующей жестикуляцией. Было что-то очень милое в этом деревенском юноше, с полной верою и убежденностью декламировавшем простые и явно сентиментальные стихи. Гулиа, видимо, читал неплохо, во всяком случае оригинально. Однако успех обеспечила неожиданная концовка. Как некогда, он прочитал:

— ...Улыбнулся, запер глазки и уснул. Спокойный сон!.. Пе-тер-сон!

Комиссия вдруг оживилась. Все засмеялись.

Гулиа немножко смутился.

— Послушай, Гулиа, — проговорил председатель, все еще сотрясаемый смехом, — что значит Петерсон? Почему ты произнес в рифму фамилию автора?

— Я вижу, вы шутите, пошутил и я, — всерьез ответил Гулиа.

— Почему же ты решил, что мы шутим?

— Я предложил вам прочесть Пушкина и Кольцова, а вы предпочли Петерсона.

— Всё! — воскликнул председатель. — Пятерка!

Гулиа выскочил в коридор сияющий. Николай, подслушивавший за дверью, все уже знал. Возвращались они домой в чудесном настроении.

— Считаю себя семинаристом, — говорил Николай.

Он все предвидел... Через несколько дней было объявлено, что Дмитрий Гулиа зачислен в список слушателей учительской семинарии.

— В учебных заведениях я учился всего пять лет и пять месяцев, — говорил Гулиа, имея в виду пять лет, проведенных в горской школе, и пять месяцев — в горийской семинарии.

Дело в том, что в середине учебного года он внезапно заболел. Поднялась температура, основательно лихорадило. Предположили, что это малярия. Прошло несколько дней, а температура все не падала, хинин не помогал. Врач поставил новый диагноз: брюшной тиф.

Пролежав положенное время и немного оправившись от болезни, Гулиа для окончательной поправки поехал домой. И тут его ждал удар.

Ничего не подозревая, он у ворот весело окликнул бабушку. Та понеслась ему навстречу со всей прытью столетней старухи, которая в состоянии выдержать еще много невзгод и житейских бурь. Она обняла любимого внука, смеясь и рыдая одновременно. Вышел во двор и отец.

— А мама? Где же мама? — беспокойно спрашивал Дмитрий, не выпуская из своих объятий бабушку и отца.

Они молчали. Они справлялись о его здоровье, сообщили, что сестра и брат здоровы.

— А мама? — повторял Дмитрий.

— Там она, — сказал отец, указывая рукою на ближайший лесок.

Дмитрий подбежал к нарам, где спала мать, и увидел ее платье и ее вещи, разложенные по обычаю... Да, мать умерла. И совсем недавно. Какая-то непонятная простуда, которую позже нарекут «испанкой», сразила ее в одну неделю. Отец рассказывал об этом неторопливо, сдерживая себя, как и подобает мужчине.

Дмитрий должен немедленно увидеть могилу. Его место в эти минуты там, поближе к матери, которой он привез гостинцы — связку городских бубликов...

Отец повел его к могиле. Под большим деревом, в полсотне шагов от берега реки, насыпан свежий холмик земли. Буковый крест прочно вкопан в землю, и несколько лесных цветочков увядают на том месте, под которым сердце матери...

Да, это был жестокий удар. Неокрепший после болезни, Дмитрий свалился. Приступ лихорадки чуть не лишил его сознания. Бабушка испробовала все средства. Она откупила лимонад, который привез ей внук, но и лимонад не принес облегчения. Приходила знахарка. Но и ее нашептывания не сбили температуры. Горячка прошла так же внезапно, как

и началась.

Недаром говорится: пришла беда — отворяй ворота. Кто же это забыл закрыть ворота, через которые прошла безвременная смерть в этот дом? У Дмитрия Гулиа читаем: «испанка» унесла бабушку и отца. Я их похоронил на левом берегу Кодора под большим деревом и стал главой семейства: мне предстояло воспитать сестру и брата».

В 1953 или 1954 году мы с отцом посетили те места. Семейное кладбище давно уничтожено, и там проходит проселочная дорога. Но дерево стоит. Это старый дуб в два обхвата. Отец показал нам то место, где были похоронены его родители. Мы постояли, обнажив головы. Затем поехали на противоположный, правый берег. Отец легко обнаружил пепелище фамильного очага, и тополя, окружавшие дом, и яблоневый сад, сильно постаревший, но все еще прекрасный.

— Мне казалось, что я остался один в целом свете, — говорил отец, опершись на плетень. — Что делать с сестрою и братом? По обычаю их взяли на воспитание ближайшие родственники, а я поклялся никогда не оставлять их без внимания... Случилась еще одна беда, меня отчислили из семинарии якобы потому, что «не подходит климат». Все мои попытки перевестись в другие училища не увенчались успехом. Учеба моя кончилась. Предстояла самостоятельная жизнь, полная для меня таинственности, предстояла работа, к которой я не был подготовлен. От отца мне досталась лошадка. Я часто садился на нее и отправлялся на берег моря, чтобы поразмыслить и решить, что же мне делать. У меня был дом, целое хозяйство. Кто же будет работать в нем, кто будет пахать и сеять? Много было неясного... Спустя некоторое время я поехал в Сухум. Увидел школу. Мне стало грустно. Не колеблясь, постучался я в знакомую дверь смотрителя...

Александр Кривицкий пишет: «Дмитрий Гулиа, ставший потом народным поэтом Абхазии, придумал для своего народа азбуку». Над азбукой Гулиа работал вместе с Мачавариани весь 1891 год. Прежде всего был создан алфавит. В основу его положили усларовский, а также бартоломеевский. В общем изменения оказались не очень большие. Но надо было решить, какому языковому наречию должны по всем пунктам удовлетворять новый алфавит и новый букварь.

Семнадцатилетний Гулиа оказался усидчивым и энергичным. Этот крепыш мог целыми днями спорить, обосновывая неприемлемость того или иного знака. Мачавариани плохо знал абхазский и в этом отношении всецело доверялся Гулиа.

Еще Бартоломей принял за основное наречие так называемое абжуйское (кодорское) в отличие от северного (бзыбского). По-видимому, не было никакого основания пересматривать это решение. Для абжуйского наречия и был составлен алфавит. В нем было пятьдесят четыре знака, и каждый из них соответствовал определенному звуку. По сравнению с предыдущими он был чуть попроще. Дмитрий записал несколько текстов и читал их своим землякам в Адзюбже. Крестьяне были поражены: молодой Гулиа, сын Урыса, смотрит на бумажку и произносит слова по-абхазски. Это было удивительно! Но когда Дмитрий прочел записи народных песен о Гудысе и Озбаке, восторгу односельчан конца-краю не было.

— Неужели же на бумаге можно записать абхазские слова? — спрашивали крестьяне.

Дмитрий поднимал вверх линованую бумагу и говорил:

— Смотрите сами.

— А можно ли написать прошение? По-абхазски?

Дмитрий сел и тут же на крылечке сельского управления написал прошение по всей форме. Оно гласило: «Начальнику Кодорского участка. Жителя села Адзюбжа такого-то прошение. Настоящим ставлю Вас в известность, что дворянин села Уарча такой-то, окончательно потеряв совесть и честь, украл единственную лошадь, по закону принадлежащую мне. Это могут подтвердить свидетели такие-то и такие. Прошу Вашего распоряжения о том, чтобы вернуть мне означенную лошадь, а дворянина такого-то привлечь к уголовной ответственности по всей строгости закона. К сему проситель такой-то».

Гулиа громко прочитал только что написанную бумагу. И фамилия дворянина и фамилия потерпевшего были указаны точно. Крестьянин по фамилии Цагуриа поднялся со своего места и поцеловал молодого человека в голову.

— Да, это верно, — сказал он, — у меня украли лошадь, но не хотелось связываться с этими воришками из Уарчи. Однако раз среди нас появился джигит, который так хорошо пишет, — я начинаю дело. С богом!

И крестьянин попросил бумагу.

— Нет, нужна твоя подпись, — сказал Гулиа.

— А как я подпишу, если неграмотен?

— Ставь здесь три крестика.

Крестьянин поставил три крестика, а «за неграмотного Цагуриа» расписался Дмитрий Гулиа.

— Видите, какая польза от абхазской грамоты? — смеясь, говорил Гулиа. — Я хочу, чтобы знали все: эту бумагу я сам передам начальнику

участка. Пусть разбирается, а мы ему в этом поможем.

Молодой худощавый человек в абхазской черкеске произвел на односельчан очень приятное впечатление: и своей ученостью и, главное, решимостью начать дело против хитроумных и довольно сильных уарчинских воров.

Много лет спустя Кан Цагуриа, один из ближайших родственников того самого потерпевшего Цагуриа, говорил мне:

— Нас поразила не столько бумажка, написанная по-абхазски, сколько желание нашего Дмитрия потягаться с дворянами. Адзюбжинцы сказали так: «Дмитрий стал на очень трудный путь. Выдержит ли, пойдет ли по нему до конца?..»

Недавно я слушал Тура Хейердала. Он сказал, между прочим: «Я совсем не знал океана, иначе я бы не отправился на «Кон-Тики». В связи с этим я вспомнил слова Гулиа: «Я не знал, что ждет меня впереди. Шел подчас инстинктивно, как идет олень на водопой. А иначе я много бы думал, прежде чем броситься в гущу жизни, можно сказать, очертя голову...» Это он говорил полушутливо-полусерьезно. Так же, как Хейердал...

Антон Адлейба пишет: «Для творчества Д. И. Гулиа, казалось, открывались большие перспективы. Он был талантлив, энергичен, молод... прекрасно знал и любил свой народ, и народ знал и любил его... Но всего этого было мало в условиях... царской России».

Но так или иначе — путь был избран...

«Абхазская азбука» вышла в свет в 1892 году. Это небольшая книжка в сорок пять страниц. Отпечатали ее в Тифлисе, в типографии канцелярии наместника на Кавказе. Азбука довольно быстро стала популярной. Не было абхазского села, где бы-не знали по крайней мере о ее существовании. В этом и состояло основное отличие новой «Азбуки» от бартоломеевской, которая так и не смогла перейти порога кабинетов ученых-лингвистов.

Хотя эта книжка и печаталась в типографии наместника, она не имела почти никакой официальной поддержки. Только горстка интеллигентов-абхазцев пропагандировала ее. Благодаря этим одиночкам абхазская азбука сделалась достоянием почти всех абхазцев, которые учились в учебных заведениях на территории Сухумского округа, то есть Абхазии. «Вот с этой поры, — писал Гулиа, — абхазцы и начали читать книги на родном языке».

Итак, основа основ грамотности была заложена. Что же дальше?

Разумеется, никаких лавров. Абхазские Кирилл и Мефодий продолжали свою скромную деятельность: Мачавариани по-прежнему

работал смотрителем, а Дмитрию Гулиа следовало заняться делом, с житейской точки зрения, более прибыльным, чем составление азбуки. Иначе говоря, надо было на что-то жить самому, надо было воспитывать сестру и брата, которые, хотя и находились у родственников, тем не менее требовали всяческой поддержки, в том числе и материальной. Все десятилетие, прошедшее после выхода в свет «Азбуки», мы видим Гулиа в различных селах учителем начальных школ. Преподавал он и в школах абхазских, и в школах греческих, и в школах русских. (Живя среди греков, он усвоил новогреческий язык.) Работал переводчиком при начальнике Кодорского участка, а позже — в управлении Сухумского отдела, тоже переводчиком.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен; Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон...» О нет, все было не так! Гулиа трудился в поте лица, и ни один ломоть жесткого чурека не давался ему легко. Он много разъезжал. Жил то в Очемчирах, то в Сухуме, то в Тамыше, то в Киндге. В селе Киндг он учительствовал в течение нескольких лет. Обсадил тополями школьный двор. И сейчас, едучи из Сухуми в Очемчиры, можно видеть на невысоком холме школу и стройные тополя, пережившие того, кто их сажал хрупкими, как тростинки.

Днем он учил детей, а вечерами учился сам. То были годы накопления опыта, годы знакомства с жизнью. Причем знакомство это было бурным. Кем бы ни работал Гулиа — переводчиком или учителем, — он активно вмешивался во все дела, с которыми к нему обращались крестьяне. Это был двадцатипятилетний молодой человек, сухощавый, подвижный и энергичный. Внешность его всегда безупречна: черкеска лучшего сукна, мягкие азиатские сапоги, архалук из ярко-пурпурного шелка, позолоченный кинжал и шашка и, разумеется, револьвер системы «смит-вессон». В карманах — куча патронов. Я что-то, кажется, упустил, и вы уже заметили что: коня, конечно! Разве джигит без коня — джигит?

Дмитрий покупает отличного коня абхазской породы с примесью кабардинской, а может, арабской крови. Он обожает коня. Конь узнает его по голосу. Достаточно окликнуть, как уже слышится топот. Вооруженный до зубов человек на лихом коне — вот портрет Дмитрия Гулиа. (В этом отношении он не составлял исключения: черкеска без оружия не черкеска.) Фотографии, сохранившиеся от тех времен, дают представление о его внешности.

Гулиа ведет, я бы сказал, светский (по абхазским понятиям) образ жизни: работает, гарцует на коне, разъезжает по знакомым, дальним и

близким родственникам. Он здоров, умеет поддержать веселое застолье и нередко бывает сам толумбашем. На этом посту он не знает пощады: не можешь пить — уходи, хочешь пить — пей, пей без отказа, пей до дна и столько, сколько тебе нальют. Этот закон пиршеств придуман не им. И не ему было отменять его. Как истый толумбаш, Гулиа пунктуально держался традиций и никому не давал спуску.

Однако явиться в гости — не значит попить и уехать восвояси. Ведь перед тем как сесть за стол, проходит немало времени, когда можно и должно потолковать. Людей бывает много, все они рассказывают новости. Жалуются на горькую судьбину или вспоминают «удивительные происшествия прежних далеких дней». Часто возникают любопытные соревнования в остроумии или пении. Молодые люди, подбадриваемые старшими, затевают борьбу или джигитуют на конях, играют в мяч или пляшут.

Возьмите свадьбы, похороны или поминки. Явиться на похороны или поминки — значит оказать внимание родным умершего. Быть приглашенным на свадьбу — почетно. Гулиа часто можно было встретить в самых отдаленных селах Кодорского участка.

Что такое абхазские похороны?

На широком дворе — неотъемлемой части крестьянского быта — сооружается навес, под которым устанавливается гроб. Вокруг гроба — ближайшая родня. Во дворе, в тени деревьев, сооружаются временные скамьи. Это место для гостей, пришедших отдать последний долг усопшему. В течение трех или четырех дней здесь перебивает огромное количество народа. Оплавав мертвого, мужчины собираются группами и ведут нескончаемые разговоры на самые различные темы. Кто-нибудь из старших вспоминает стародавнее, и молодые почтительно слушают его. Затем компания невольно обращается к последним сельским происшествиям. Здесь назначаются подчас и деловые встречи. Люди, давно не видевшие друг друга, лбызаются и спрашивают о здоровье. Здесь выясняется масса житейских подробностей. Нередко устраиваются джигитовки в память об усопшем. На них можно отличиться, можно приметить и «черноглазую» и «тонкошею». Похороны — очень сложный обряд, и по тому, как они обставлялись в прежние времена, — одновременно и культ и драматическое действо по хорошо продуманному сценарию. Всем распоряжался опытный человек, знающий похоронные церемонии. Как бы ни были душераздирающи женские вопли, похоронный обряд, берущий начало в глубокой древности, не должен был морально ослаблять присутствующих. И неизбежные после похорон поминки, по-

видимому, служили именно этой цели. Присутствие, причем неизменное, вина на похоронах как бы «сняло часть скорби». Постепенно обычай этот гипертрофировался, и в наше время он справедливо вызывает недовольство, ибо часто «преступаются дозволенные обычаем границы».

На поминках еще больше, чем на похоронах, внешнего проявления сочувствия, еще явственнее ощущается театральность. И на поминках тоже весьма удобно и даже уместно встретиться со старыми друзьями и знакомыми, перемолвиться словечком, поделиться горем или посоветоваться о чем-нибудь серьезном. Мужчины и женщины прихорашиваются, чтобы показаться в лучшем виде. Если в семье дочери на выданье, поминки для них еще одна возможность проявить свои способности молодых хозяек, понимающих толк в приеме гостей...

А что же такое абхазская свадьба?

Свадебные обряды позволяли с веселой выдумкой и остроумием раскрывать всевозможные таланты: в кулинарном деле, в свежевании туши, варке мамалыги, танцах, джигитовке, различных хозяйственных делах и, не в последнюю очередь, в распитии огромного количества вина. На свадьбу особого приглашения не требовалось. Все село считало своим долгом поздравить новобрачных. Каждый старался посылить помочь молодым. И тем не менее свадьба влетала, что называется, в копеечку. Ее приходилось откладывать — и не раз, — если не позволяли средства. Правда, в этом случае можно было ограничиться инсценировкой похищения невесты, и это избавляло от устройства дорогостоящей свадьбы.

Свадьба — значит, много народу, много бесед, много веселья, много вина и угощения. Речи — под стать цicerоновским — чередовались с песнями и плясками. Тосты превращались в своего рода образцы мудрости или остроумия (ценилось и то и другое). Представьте себе калейдоскоп людей. При определенной наблюдательности человек познавал сельское общество с самых разных сторон. На свадьбах, например, очень резко обозначалась грань между имущими и малоимущими. Князья и дворяне бывали окружены великим почетом. Они чувствовали себя на особом положении, могли позволить себе то, что категорически было запрещено простому крестьянину. Не в меру самонадеянные князья, задиристые дворяне и «тихие» крестьяне давали пищу для различных горестных размышлений и замечаний.

Познание народа, всех сторон его души, его чаяний и надежд, не может быть осуществлено с какого-нибудь одного края. Слияние с разнообразными и сокровенными мыслями людскими возможно только в случае, если ты с народом в труде, заботах, несчастье и веселье. (Я знаю

одного «областного» писателя, который с удовольствием ходит на завод для «знакомства» с жизнью и, как черт ладана, боится ресторана, где появляться предосудительно, ибо можно влипнуть в какую-нибудь драку, которую время от времени устраивают рабочие с того же завода.) Живя жизнью своего народа, никогда не отгораживаясь от него и не чураясь его ни в какие минуты, Гулиа, как я уже говорил, упорно и настойчиво набирался того, чего не смог получить в учебных заведениях, — знаний. «Самообразование», о котором любил говорить он впоследствии, явилось величайшим делом его жизни.

Гулиа штудировал библию и коран, учение Конфуция и талмуд, он читал античных историков и географов, делал выписки, относящиеся к кавказоведению. Он это проделывал просто так, для себя, не помышляя еще о том, где их можно будет применить. Внимательно — от строки до строки — перечитывал статьи Соломона Званба, храброго офицера, погибшего в русско-турецкую войну. Званба, несомненно, был талантливым этнографом, прекрасным знатоком быта абхазцев.

Очень любопытны для Гулиа бывали встречи с молодым и неумным учителем Фомой Эшба — автором книг для абхазских школ. Гулиа хотел знать по возможности все, что относится к духовной культуре человечества. Он записывал смешные случаи, которые наблюдал сам или о которых рассказывали ему. Опять-таки никаких определенных планов у него еще не было — просто это нравилось. Он писал стихи, которые читал крестьянам. Это были непритязательные вирши «на злобу дня», о каком-нибудь чуде или скудоумном влюбленном, об утренней или вечерней заре. «Сочинял разные стишки, — вспоминал Гулиа, — которые не имели никакого общественного значения. Они безвозвратно погибли, и я не жалею об этом». Молодой человек, погруженный в жизнь, казалось, и не помышлял всерьез о литературном творчестве. Обезвредить одного вора представлялось ему делом более значительным, чем написать книгу стихов.

Следователем Кодорского участка работал Николай Павлович Резников. Он был сослан сюда из России, как пошучивал он, за «плохой характер». Резников принадлежал к когорте народников и, прибыв к месту назначения, в Очемчире, не скрывал своего отвращения ко всякого рода проявлениям «общественного идиотизма».

Однажды он посмотрел поверх очков и сказал:

— Господин Гулиа, это прошение составляли вы?

Гулиа глянул на бумагу: это была жалоба на дворянина, которого один из крестьян села Мук обвинял в краже буйволицы. Об этой краже Гулиа

случайно узнал на сельской свадьбе. Поговорив тогда же с крестьянином, опросив нескольких соседей его, клятвенно подтверждавших справедливость обвинения, он, не сходя с места, написал жалобу, под которой крестиками «расписался» крестьянин.

Гулиа ответил Резникову:

— Да, Николай Павлович, вчера пришлось побывать в селе Мук. Крестьяне отлично знали, кто вор, но держали язык за зубами. Вот я и помог им.

— Черт бы побрал этих воришек! — пробурчал Резников. И размашисто написал приказ б предварительном заключении дворянина.

В данном случае, пожалуй, можно было обойтись и без заключения под стражу до окончания следствия. Но Резников был крут, когда дело касалось обид, нанесенных крестьянам «высокими господами».

В дальнейшем как бы сам собою укрепился союз между следователем и молодым переводчиком, словно поклявшись не давать спуску «светлейшим» ворам.

— Достаточно было Резникову удостовериться в том, — говорил мне отец, — что лично я поддерживаю крестьянскую жалобу, и ворам трудно было миновать тюремной решетки. Резников с удовольствием отыскивал соответствующий закон, позволявший немедленно сажать вора или его высокого покровителя. Это он делал с истинным наслаждением.

Понемногу ширилась слава о Дмитриии Гулиа как о человеке справедливом, внимательном к крестьянским заботам... Как-то он гостил в селе Кутол. А приезжал он туда по делам школьным, позже здесь учительствовал.

Вечером, беседа с гостеприимным хозяином, Гулиа спросил:

— А как твои дела, Билал?

Билалу лет шестьдесят. Семья у него большая. А рабочих рук всего две.

— Много сносил, — сказал Билал, — но уже не вмоготу... Саатбей притесняет. Житья не дает.

— Это какой же Саатбей? Тамшский, что ли?

— Он самый, будь он проклят! Этот заносчивый дворянин хуже князей Ачба. Не буду утруждать тебя рассказом обо всех несчастьях. Достаточно и того, что у меня украли последнюю буйволицу.

— Это скверно, — сказал Гулиа. — Когда же это случилось?

— Месяца два назад.

— Что же ты молчал?

Билал пожал плечами.

— Кому выплачешься? Кто поможет? У кого сила — тот и прав.

— А ты уверен, Билал, что твоя буйволица именно у Саатбея?

— Клянусь святым Георгием Илорским, это так. Мои дети видели буйволицу у него на задворках.

Гулиа задумался. Что делать? Писать жалобу? А может, сначала попытаться... И он написал такую записку: «Уважаемый Саатбей! Мне стало известно, что кем-то украденная буйволица у крестьянина такого-то из села Кутол оказалась у тебя. Прошу к завтрашнему утру вернуть ее законному владельцу. Надеюсь, проволоочки в этом не будет. *Д. Гулиа*».

— Эту записку пошли через кого-нибудь Саат-бею, — сказал Гулиа.

— Через кого же?

— Лучше через соседа.

— Ладно, — сказал Билал, — придумаю что-нибудь. — И вышел во двор.

Кончилась ночь. Солнце уже светило в окно. Хотя хозяева и старались говорить полупшепотом, гостя они разбудили. Гулиа встал, вышел на крыльцо и с трудом поверил тому, что увидел собственными глазами: посреди двора стояла огромная буйволица с лоснящимися боками. Она медленно жевала жвачку, а вся семья Билала любовалась ею.

— О Дмитрий! — воскликнул Билал. — Вот что сделала твоя бумажка. Нет! Ключок бумажки! А что бы было, если б ты исписал целый лист?

Гулиа и сам был удивлен. С его стороны было слишком самонадеянно писать такую записку Саат-бею — человеку не трусливого десятка...

— Чудо, чудо! — говорил Билал. — Я не верю своему счастью!

После завтрака Гулиа лихо вскочил на коня.

— Билал, имей в виду сам и скажи своим друзьям: о каждом случае воровства или грабежа сообщайте мне. Незамедлительно!

Этот всадник казался Билалу настоящим героем... Можно представить себе, что рассказывал он своим соседям, а те своим и так далее...

— Дмитрий действует, как молния, — говорили крестьяне.

И от села к селу твердо шагала эта весть об «ученом» абхазце, сила слов которого, написанных на бумаге, может перешибить упрямство любого дворянина, а может быть, и князя.

— Дмитрий Иосифович, — как-то сказал Резников, — у меня лежит жалоба некоего Амичба, родственника которого якобы подстрелил один из гупских князей. Что вы скажете?

Гулиа прочел жалобу.

— Похоже на правду. Более того, я слышал об этом происшествии. Полагал, что убийца давно задержан — этому делу больше года.

— Верно. А жалоба поступила только сейчас. Но я ничего не могу поделать. — Резников нахмурился, бросил перо на стол.

— Что же смущает вас, Николай Павлович?

— Нет свидетелей, вот что! И толком не могу добиться свидетельских показаний. Этот Амичба в коридоре, поговорите с ним.

Между Дмитрием и Амичба произошел следующий разговор:

— Кем тебе приходится убитый?

— Молочным братом.

— Сколько было ему лет?

— Тридцать.

— А кто убийца? Вы кого-нибудь подозреваете?

Амичба криво усмехнулся.

— Эх, дорогой, не только подозреваем, но и знаем доподлинно. Это так же точно, как то, что ты стоишь передо мной.

— Кто же?

— Князь Тараш.

— Ты уверен?

— Да! Но что с ним поделаешь? Он поодиночке перебьет всех нас. Передушит, как цыплят.

— А есть у тебя свидетели? Кто может подтвердить, что князь Тараш — преступник?

Крестьянин усмехнулся.

— Свидетелей много, да захотят ли они рисковать головой? Кому охота с ним связываться? Связаться — значит в лес уйти, в абреки. А там, глядишь, семью начнут тревожить. Все равно явишься сам с повинной. Другого выхода не будет.

— Да, невеселое житье, — сказал Гулиа. — Ну, а все-таки, кто бы смог выступить в качестве свидетеля?

Амичба задумался, задымил трубкой, что-то прикидывая в уме.

— Пожалуй, Тамшуг и Саат. Они соседи мои, и мы с ними как родные. Если и они подведут, тогда ума не приложу, что и предложить.

— Передай им, что их вызывает следователь.

— Испугаются, — сказал Амичба.

— Тогда сошлись на меня...

— Это будет лучше. Я скажу, что их желает видеть сам Дырмит Гулиа.

— Ладно, будь по-твоему. Поговорю-ка я с ними, может, и проснется у них совесть.

Амичба запротестовал:

— Они совестливые! Ей-богу! Жизнь такова, что поделаешь?

— Передай, чтобы торопились.

И верно, через два дня двое крестьян сидели в маленьком духанчике и беседовали с Гулиа. Они попивали слабенькое винцо и закусывали домашней колбасой — атоубаром.

Если такой-то или такой-то, говорил Гулиа, является преступником, то покрывать его — значит невольно сделаться его соучастником. Разве этому учит христианская религия? Разве любовь к ближнему не означает в одно и то же время ненависть к врагу твоего ближнего? Нынче пострадал Амичба, а завтра?.. Чья очередь настанет завтра? Ежели кто-либо по недомыслию полагает, что несчастья минуют его, затронув всех прочих, то такой, с позволения сказать, мудрец глубоко ошибается. Во всяком деле важно одно: как бы не перехитрить самого себя! Многие думают так: гроза идет мимо моих ворот.

Но путь к твоим воротам грозе не заказан. Сегодня она несется в одну сторону, а завтра повернет в другую. Молчание, равнодушие, трусость — самые злейшие враги человечества. Почему очень часто торжествует зло? Да потому, что где-то рядом молчит совесть человеческая. Потому что где-то рядом торжествует равнодушие...

Крестьяне молча выслушали его и сказали:

— Иногда нам кажется, что мы просто жалкие люди. Нам стыдно за себя, когда думаем о том, на что были способны наши предки.

— Только не прикидывайтесь трусами, — предупредил Гулиа. — Убедите себя, что вы герои, и вам будет не страшен убийца, до смерти запугавший вас. Но ежели вы падете духом хотя бы на минутку, опустите руки и скажете: «Все совершается помимо нашей воли», то погибнете вместе со всеми вашими близкими. Это закон!

— Так как же нам быть?

Гулиа сплел на руках пальцы.

— Что это?

Тамшуг сказал:

— Сплетенные пальцы.

Саат сказал:

— Их не так-то просто разжать.

— Верно! — воскликнул Дмитрий. — Их трудно разжать постороннему. Вот так и должны быть все вы: как один!

— Это не так-то просто.

— Но и не очень сложно, — возразил Дмитрий. Крестьяне переглянулись. Повздыхали.

— Что же нам все-таки делать?

— Сказать следователю всю истинную правду: ничего не добавляя и ничего не утаивая. Вести себя как сказочный Абрискил: за правду стоять насмерть!

Саат сказал:

— Раз ты советуешь так, как советуешь, — мы готовы. Учти, Дмитрий, если нам худо будет, мы придем к тебе, а уж ты выручай, как знаешь.

— Даю вам слово! — пылко воскликнул Гулиа. — Считайте меня вашим сообщником во всех добрых делах!

Теперь уже без дальних слов крестьяне направились к следователю. К концу дня Резников пригласил Гулиа отобедать с ним. Ресторанчик находился недалеко, за углом. Были заказаны две порции жареного мяса с огнеподобными подливами. В Абхазии обед не обед, ежели он без вина. Поэтому две бутылки никого не могут удивить. Это, как говорят, служебная порция...

— Крестьяне дали свои показания, — говорил Резников. — Несомненно, князь Тараш — низкопробный подлец и негодяй. Ссылка в Сибирь — самое скромное наказание!

— Согласен, — сказал Гулиа, — но и сослать его не так-то просто. Крестьяне основательно запуганы. Эти двое, между прочим, взвалили на меня всю ответственность за могущие произойти неприятные последствия.

— Сволочи! — произнес хмурый Резников. И Гулиа сразу понял, к кому относилось это ругательство. Уж, во всяком случае, не к крестьянам.

Резников поделился своими планами. Первое: он будет добиваться предварительного заключения в тюрьму этого князя. Второе: посадив князя, он тем самым несколько приободрит крестьян. Третье: он полагается на поддержку Гулиа... Нет, не надо скромничать, продолжал Резников, если бы не помощь Гулиа, имеющего магическое влияние на абхазцев, достигнуть чего-либо определенно положительного было бы трудно. В устах сурового человека слова эти были великой похвалой...

События развернулись следующим образом. Резников потребовал ареста князя Тараша ввиду неопровержимых улик в совершенном уголовном преступлении — убийстве Амичба. Участковый прокурор не решился санкционировать арест. Резников пошел дальше: в Сухум и даже Кутаис к губернскому прокурору. Материал взывал к правосудию, взывал неотразимо убедительно. Последние прокурорские колебания были сокрушены Резниковым: откровенной угрозой сообщить о «безобразном деле» самому министру юстиции в Петербург! Санкция на арест князя Тараша была, наконец, дана, и преступник угодил за решетку.

И тут все завертелось. Крестьяне, ободренные первым успехом,

навалились всем миром: посыпались жалобы, прошения, показания. Однако не сидела сложа руки и противная сторона. В дом Тараша прибыл следователь по особо важным делам и, как утверждали люди сведущие, получил солидный куш. Результатом этого визита явилось постановление об освобождении князя Тараша из-под стражи. Но это не все: почти все показания свидетелей, за исключением показаний Тамшуга и Саата, были взяты обратно. Невыгодные для князя показания сменились показаниями только в его пользу.

И в один прекрасный день хмурый-прехмурый, словно туча, Резников сказал Дмитрию Гулиа, разрезая какой-то объемистый пакет, весь заляпанный сургучными печатями:

— Прокурор может ликовать: дело против негодяя Тараша прекращено. Князь из-под стражи освобожден.

— Неужели?

— Да, милостивый государь, — зло сказал Резников, не глядя на Гулиа, — таковы порядки, такова справедливость в Российской империи. Да-с! Честь имею...

И он вышел, хлопнув дверью.

Гулиа расстроился. Придя домой, он зажег лампу и долго чертил на бумаге какие-то каракули. Не было никакого сомнения: проиграно большое, очень важное сражение. Дай-то бог уцелеть несчастным свидетелям!.. И он стал обдумывать дальнейшие действия, дабы уберечь от княжеской мести Тамшуга и Саата. И он почти решил...

Как всегда, как во всю свою жизнь, ровно в одиннадцать вечера он был уже в постели. А через пять минут уже спал, чтобы ровно в семь, как во всю свою жизнь, проснуться для работы...

На следующий день он сообщил Саату, что будет у него в воскресенье, вскоре после полудня — «когда солнце, перескочив через верхушку самого высокого дерева, станет клониться к западу». (Хотя это понятие кажется растяжимым, абхазцы весьма точны, когда речь идет о визите гостя, причем неважно, знатного или простого: гость есть гость, кем бы он ни был.) Было передано пожелание о том, чтобы пригласили также лиц, близко стоящих к князю Тарашу.

И в назначенное время Гулиа прискакал к Саату на отличном вороном коне, вооруженный с ног до головы и, казалось, неотразимый, как святой Георгий.

Гостя уже ждали. Здесь было не менее двадцати соседей Саата плюс несколько лиц из верноподданных князя Тараша (эти уж доложат князю о встрече во всех подробностях).

Сначала, как полагается, шел разговор о том, о сем, шутили, вспоминали старину, молодые потешались над неловкостью своих сверстников. Словом, обычная прелюдия абхазских, да, пожалуй, и не только абхазских пиршеств. И все любовались конем Дмитрия, воистину сказочным арашем — крылатым, огнеподобным конем из народных сказок.

Весь этот сыр-бор был заварен лишь ради одного тоста Дмитрия Гулиа, который состоялся примерно к середине пиршества. Отвечая на приветствие Саата, Гулиа сказал весьма неторопливо и внушительно:

— Дорогой Саат, ты изволил высказать много приятных слов в мой адрес. Я их недостоин. Говорю это без ложной скромности и рисовки. Я слишком молод, чтобы разрешить себе нечто подобное в твоём присутствии и перед лицом уважаемых гостей твоих. Я лишь желаю заявить, если ты разрешишь, следующее: моим самым большим желанием в ответ на твою хлеб-соль является одно — быть всегда рядом с тобой в трудную для тебя минуту. Заверяю тебя, отныне твои заботы — мои заботы, и твои враги — мои враги. Клянусь в этом прахом отца! А сейчас мне хочется очень скупно, но от души отметить сегодняшний весьма памятный для меня день. Вот серебряные часы, которые прошу носить как память о твоём самом верном друге.

И он вышел из-за стола и преподнес отличные часы фирмы «Павел Буре» на серебряной цепочке. В ответном слове Саат довел «до всеобщего сведения», что лучшего быка из своего небольшого стада дарит Дмитрию.

Это была общепринятая церемония сближения, почти что установление родства...

Разумеется, все это было доложено князю Таращу, и Саат, а вместе с ним и Тамшуг обрели своеобразный иммунитет против враждебных происков князя...

Такова была «позиция» будущего поэта в самом острейшем вопросе — в отношении к трудовому человеку. Михаил Делба пишет: «Дмитрий Гулиа был певцом и страстным защитником трудового народа, таким он останется в истории абхазской литературы». С учительской кафедры, из канцелярий, где он работал, с «трибуны» крестьянских сходов он служил только и только одному делу: счастьем родного народа, в котором без всякого компромисса, без малейшего колебания выделял действительно великое и действительно непреодолимое начало — трудового человека. Он был полон любви к крестьянину, проливавшему пот на пашне, он был предан до конца идеалам свободы и справедливости. Это было инстинктивным побуждением. И ему не требовалось все это излагать в форме письменной декларации. Страстная защита угнетенного, гонимого, опечаленного

человека являлась как бы жизненной необходимостью для него. Он просто не мог жить и поступать иначе.

Группа абхазских интеллигентов писала Дмитрию Гулиа: «Вы... внушали своему народу ненависть к угнетению и эксплуатации». Верно, в народе знали, что Дмитрий Гулиа всегда даст нужный совет, всегда придет на помощь, всегда напишет бумагу, которая имеет «большую силу». Энергия его казалась неиссякаемой.

Я помню, как во время прошлой войны отца навестил стосорокалетний Шаангери Бжаниа. Старик оглядел поэта со всех сторон, поцеловал в лоб и сказал: «Дмитрий, я никогда не предполагал, что ты когда-нибудь постареешь. Ты всегда был как огонь». Это подтверждают все знавшие Гулиа: как огонь в делах, как огонь на пирах. Смолodu был доброго нрава, безукоризненно честен и хозяин своему слову. Однако вспыльчив. Мог надолго рассердиться.

Не терпел болтунов и бездельников. Если кто-либо нес чепуху, то попросту извинялся и вставал, ссылаясь на крайнюю занятость.

Он говорил мне:

— Я не понимаю, как это можно без дела сидеть! Кончил одно — приступай к другому. Устал — отдыхай. А сидеть без дела?.. Если кто-либо ссылается на свою молодость и молодостью пытается объяснить безделье, то я сошлюсь на свою: без работы не сидел ни одной минуты!

Сколько я помню, он ни разу не отступил от этого правила. И старики утверждали, что таким он был всегда.

Первое десятилетие нашего века было воистину удивительным. Двадцатое столетие заявило о себе недвусмысленно и властно. Оформилась ленинская партия, сравнительно быстро изменившая весь ход истории на земле. Маркони переговаривался с Америкой по беспроволочному телеграфу. Братья Райт поднимали с пустынного берега свои первые самолеты. Альберт Эйнштейн высказал еретическую мысль об энергии вещества, блестяще подтвержденную взрывами атомных бомб много лет спустя. В конце десятилетия в Гагре уже бегала «телега без лошади» — автомашина, принадлежащая принцу Ольденбургскому. На пятом году от начала века вспыхнула знаменитая русская революция, потрясшая всю империю от края до края.

1905 год и в Абхазии был годом бурным. Алексей Мелихов пишет: «События захватили и Абхазию. 20 января стачка протеста началась в Сухуме...

В Сухуме активное участие в революционных выступлениях начинают

принимать вместе с рабочими ремесленники, домашние и садовые рабочие, а также приказчики («торговый пролетариат»); в деревне наибольшую активность проявляли батраки и арендаторы...

Из донесения главнокомандующего гражданской частью на Кавказе от 11 марта видно, что им было сделано распоряжение о командировании в Сухум казаков с Северного Кавказа...

На начальника округа полковника Прогульбицкого весной было совершено второе покушение. Стреляли и в помощника начальника округа подполковника Зенченко».

События 1905 года заставили отца, по его словам, еще глубже заглянуть в душу народную. Россия, Кавказ, Грузия — все кипело, словно вода в котле. Он видел городские бунты, видел просветленные глаза крестьян, слышал гневные речи «усмирителя непокорных» генерала Алиханова. Все это следовало основательно переварить. Съездившиеся от страха князья и дворяне приводили его в восторг. Наконец-то они присмирели. Хотя, как выяснилось позже, ненадолго. Неудачная для царизма русско-японская война многим открыла глаза. Явственное стали обозначаться изъяны великой империи. Революция показала, что колосс держится на глиняных ногах.

Но колосс выстоял. Зашатался, чуть не рухнул, но удержался. И все-таки произошло что-то непоправимое, что-то необратимое. «Я разговаривал с людьми, — рассказывал Гулиа, — и более всего произносилось слово «свобода». Одни проклинали это слово. Другие превозносили выше небес. Я писал стихи и тут же читал крестьянам. Рассказывал им о том, что делается на белом свете. Тогда казалось, что я осведомлен о множестве дел. Теперь я понимаю, что информация моя была каплей в море».

Крестьяне слушали Гулиа и покачивали головами — от удивления, от грандиозности масштаба происходящего на свете. Говорил он удивительным языком. По крайней мере все, кто слышал его в молодости, так искренне и полагали. Гваджа Барганджиа, житель села Тамш, рассказывал мне:

— Твой отец не говорил, а пел, как соловей. И откуда у него бралась такая речь? Какие он придумывал слова! Как связывал их! Главное, все было так ясно и так понятно! Старики удивлялись старинным выражениям — прекрасным и точно передающим смысл.

Я наивно спрашивал отца, откуда он черпал эти слова и выражения.

— Секрет, — говорил он, — очень простой: сами старики поставляли мне их. В огромном количестве. Мне только оставалось запоминать,

осмысливать и пускать в дело. Если ты не умеешь слушать чужую речь, улавливать в ней что-то для тебя новое, незнакомое, если ты не интересуешься живой речью — не берись за литературу: она не для тебя. Разумеется, только слушать, только припоминать — половина дела. Надо научиться умело, мастерски владеть словом. Без этого какой же ты литератор?

Отец говорил мне:

— Слушать, и притом внимательно, надо всех: и маленького, и взрослого, и старого, и мужчину, и женщину. Словом, всех! У каждого — своя манера. У каждого — свой строй мыслей. И не считай, что одни говорят хорошо, а другие — плохо и поэтому, дескать, не следует прислушиваться ко всему. Слушая «плохую» речь, ты сумеешь найти нужное слово. «Изысканная» речь не самая лучшая. Я следовал всегда этим правилам, вырабатывал свою собственную манеру, а люди удивлялись, откуда я все это беру. У них! В том-то весь секрет.

В двадцатое столетие Гулиа, по всем данным, вступил без ясной литературной или научной цели. Он все еще слишком был занят служебными делами, которые целиком поглощали его. Он продолжает много читать — залпом, с жадностью. Рядом с повестями и романами — книжки по сельскому хозяйству и, конечно же, по истории. История захватывает его, будит в нем фантазию, уводит в туманную даль, где не так-то просто разобраться, где много неясного и странного. Он все чаще задается вопросом: кто же я и кто мой народ? Гулиа упрямо ищет ответа на этот вопрос. Однако много ли специальных книг в таком городишке, как Сухум или Очемчиры? Правда, он прочел почти все, что можно было обнаружить в интеллигентных семьях, но этого оказалось не так уж много. Геродот становится его любимым автором. Этот старик — великолепный фантазер в хорошем смысле слова. Там, где недостает достоверных фактов, — достоверные домыслы. Его можно читать запоем...

Однажды я спросил отца, что ему известно о наших предках. Он улыбнулся, лукаво посмотрел на меня, по привычке расправил сидящие усы.

— Да будет тебе известно, — сказал он, — что фамильного замка мы лишились, вероятно, в доисторические времена. Отсутствует и генеалогическое древо.

— А все-таки? — настаивал я.

И отец ответил мне в библейском стиле:

— И нарекли его именем Дмитрий, что значит Гач. И был у него отец по имени Иосиф, он же Урыс, сын Тукуа, сын Дгура, И здесь кончается сей

список, ибо не сохранили прочих имен ни письма, ни живописцы... А мать его была Рабиа, урожденная Барганджиа. Мать Рабии — Аба, урожденная Чолбука. Отец же Рабии звался Сагяса. У Рабии были три брата, языческие имена коих: Куча, Смел и Сйса. А жену Тукуа еще до замужества нарекли именем Фындык... Послушай, ты записываешь все это или же будешь без конца спрашивать об одном и том же? Помнится, уже докладывал об этом...

Я тут же взял листочек и записал имена. Отец добавил:

— Все они были крестьянами и крестьянками. Никто из них в белоручках не ходил. Не тебе чета: ты же лентяй. Могу заверить, что не было среди них подлецов, лентяев, негодяев. Сколько хватает людской памяти, никто из них не запятнал фамилии Гулиа дурными поступками. Самое большое преступление, которое они совершали, — это похищение любимых девушек для себя или для своих родственников. Ну, да быть молодцу не укор...

И отец заразительно смеялся.

В канцелярии епископа сухумского Дмитрию сообщили необычную весть: экзарх Грузии с одобрения святейшего синода предлагает Гулиа переводческую работу. Этот разговор состоялся в том самом здании, где ныне помещается Абхазский государственный музей. Гулиа насторожился.

— Переводческую?

— Да, — говорил протоиерей. — Речь идет о приглашении вас в комиссию по переводу на абхазский язык богослужебных книг. И разумеется, в первую очередь евангелия.

Признаться, это было совершенно неожиданно. Гулиа приходилось переводить разные речи, деловые бумаги, указы, распоряжения и прочее. Но евангелие?

— Простите, — сказал он, — не могу ли я узнать, кого еще предполагается ввести в комиссию?

Протоиерей назвал имена нескольких абхазских священников.

— Они опытные переводчики? — спросил Гулиа.

— О нет! — ответил священник. — Насколько мне известно, никогда ничего не переводили. Однако же они коренные абхазцы и, по нашему разумению, могли бы принести пользу. И еще одно соображение: эту священную книгу полагалось бы переводить не единолично, а всей комиссией.

— Вы правы. Я спрашиваю об этом вовсе не из тщеславия. Всегда хочется знать наперед, с кем на что идешь. Как видно, перевод придется

делать мне, а уж затем его исправит и окончательно утвердит комиссия. Верно?

— Скорее всего это будет так, Дмитрий Иосифович. Члены комиссии могут быть полезны в качестве истолкователей текста и критиков перевода.

— Благодарю за откровенность, — сказал Гулиа.

Он стоял, положив руку на кинжал, точно намеревался выхватить его. Этот горец никак не вязался с образом богобоязненного переводчика слова божьего. И тем не менее...

— Это нелегкая работа, — сказал Гулиа. — Может быть, именно поэтому я и возьмусь.

— Благодарю вас. О вашем согласии будет сообщено экзарху.

Дмитрий, покинув резиденцию епископа, тут же занялся приобретением необходимых книг (он любил брать быка за рога). Купил библию на русском языке (она и до сего дня цела, на ней автограф Гулиа). Затем раздобыл эту книгу на греческом, грузинском и церковнославянском языках. Полагая, что при толковании определенных терминов безусловно понадобятся талмуд и коран, он достал и их. Не ожидая вестей от экзарха, начал изучать древнееврейский и арабский языки.

Когда же сообщили, что пора приступить к переводу, и была утверждена переводческая комиссия, Дмитрий Гулиа работал, что называется, полным ходом. Следовало не только точно передать смысл, содержание писания, но также соблюсти благозвучие переведенного текста, своеобразную поэтичность его. Переводя и сличая друг с другом различные издания, Гулиа замечал нечеткость и неточность переводов. Их, этих неточностей, набралось так много, что можно было написать целый критический трактат. К переводу евангелия Гулиа подходил не как религиозный фанатик (он им никогда не был), а как переводчик в высшей степени добросовестный.

Он читал некоторые места друзьям, проверяя звучание евангельских слов.

— Бзабаала йкоуп ицыуа, — читал он, — ажъжьара роуоит азы.

Это значило: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

Он читал:

— Бзабаала йкоуп ацабырг азы ймлашьуа, идзышуа, урт уи роуоит азы.

Это значило: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

Он читал:

— Ишгуамхуааит сара азакуан...

Что значило: «Не думайте, что я пришел нарушить закон...»

Этими словами евангелиста Матфея часто Дмитрий Гулиа начинал свою речь на сходах и тут же добавлял:

— Так сказал начальник округа, который выступал здесь перед вами. И в самом деле, уважаемые сельчане: грош цена человеку, который нарушает закон человеческий. Не нарушать надо его, а соблюдать. Только неукоснительное соблюдение доброго, человеческого закона, к сожалению, пока неписаного, есть великое и божье дело. Хотя этого не говорил начальник, но я считаю своим долгом сказать об этом. Как сказано в священном писании: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Я бы от себя добавил: поменьше надо хныкать и побольше силу показывать, мужество выказывать и не трусить даже перед нагайками казаков. И тогда можно смело сказать: «Вы утешитесь, ибо вы победите...»

И он скромно отступал на шаг, давая начальству возможность продолжать речь. И снова переводил ее абхазцам. Иногда, как мы видели, с красноречивыми комментариями...

В 1907 году Дмитрий Гулиа впервые побывал в Москве, откуда сделал небольшую «вылазку» во Владимир. Он долго вспоминал эту поездку, рассказывал в кругу семьи о своих впечатлениях спустя много лет.

Абхазец в черкеске, — правда, не на коне, но все-таки в полном традиционном вооружении, — производил на встречах несомненное впечатление. Вместе с ним был дворянин Титу — переводчик при начальнике округа. Человек недалекий, не шибко грамотный, вел он себя в Москве, как существо, свалившееся прямо с луны: на все разевал рот, без конца всему дивился и совал огромные чаевые. Однажды, осматривая кремлевские храмы, Гулиа потерял из виду своего попутчика. Поискав, обнаружил Титу среди гробниц великих князей. Дворянин разговаривал с монахом, прося его о чем-то очень важном. Он говорил, напряженно подбирая слова:

— Ты понимай? Моя есть дворянин... Моя Титу... Вот десять рублей, и ты и твоя епископ говорил во здравие. Титу во здравие, Гуатас во здравие, Бата за упокой, Мина во здравие, Макрина за упокой, Хаджарат во здравие... Нет, Хаджарат тоже за упокой. А вот другой Хаджарат во здравие. Ты моя понимай?

— Отлично, — сказал монах, опуская золотой в карман широченных штанов.

Гулиа отвел Титу в сторону.

— Слушай, это неудобно.

— Отчего же? Он обещал помянуть мертвых, провозгласить во здравие

живых.

— Ты уверен?

— А как же?!

Дмитрий не стал его огорчать, и они продолжали осмотр. Однако намеков не пошел на пользу. Титу слезно упрашивал монаха:

— Титу во здравие, Хаджарат за упокой, другой Хаджарат во здравие... Пожалста.

Целый день провел Гулиа на кладбище Новодевичьего монастыря... Михаил Делба пишет: «Д. Гулиа еще в 1907 году предпринял творческую поездку по России, интересуясь историей, культурой и жизнью русского народа... Неизгладимое впечатление производит на поэта Кремль своими достопримечательностями, изумительными памятниками русской архитектуры... Свои впечатления поэт отразил в стихотворениях «Москва» и «Владимир», написанных в июне 1907 года».

Эти стихи относятся к ранним стихам Гулиа, дошедшим до нас в печатном виде. Одно из первых, если не самое первое стихотворение, включенное в его сборник, называется: «Двое шли, а третий за ними поспешал». Написано оно в 1906 году. Это злая сатира на тунеядцев того времени. Вот с этой поры уже можно говорить о Дмитрие Гулиа как о поэте. Не прерывая повседневных дел в школах, не замыкаясь в тиши кабинета и никогда не отказываясь от веселых пиров, Гулиа писал стихи, читал их своим знакомым на сельских сходах. Люди удивлялись: возможно ли это? Как складен, как звучен абхазский язык!

Иван Папаскир пишет о произведениях Гулиа: «Я нашел у него много новых, красивых слов, о существовании которых я раньше совсем не знал». Мушни Хашба свидетельствует: «Его стихи всюду в селах распеваются даже неграмотными стариками». На вороном скакуне, очень схожем со сказочными арашами, разъезжал по абхазским селам не только «настоящий мужчина», не только пылкий правдолюбец, не только «гроза черствых людей», но и нежный поэт и поэт-борец, постепенно обнажавший меч своей поэзии.

Бьет час: в Абхазии рождается ее поэт и ученый.

Дмитрий Гулиа поселяется в Сухуме. Отныне этот город будет для него постоянным местом его жительства. Это столица Абхазии. Абхазцы называют Сухум — Аква. И теперь в родном селе Гулиа станут говорить: «Дмитрий приехал издалека».

Коня своего он все еще «содержит» у своих родственников. Время от времени навещает его.

Прямо от ворот кличет своего друга, и откуда-то из далекого задворка несется радостное ржание. Потом кто-нибудь отворяет дверь конюшни, и конь весело мчится на зов. Здесь, у ворот, они и встречаются. Поэт обнимает животное, называет всякими ласковыми словами, треплет по гриве, разговаривает с ним, как со смышленным другом.

— Нас разлучили, — говорит Гулиа. — Когда же мы свидимся снова?

Конь мотает головой, конь-красавец, великолепное создание природы!

Однажды Дмитрий приметил неладное: конь заметно исхудал. На немой вопрос поэта, обращенный к хозяину — очень близкому родственнику, — тот стыдливо потупил взор. Выяснилось, что рядом с конем Гулиа «гостил» чужой конь (как назло, княжеский) и «высокий гость» съедал корм крестьянского коня. Гулиа смертельно обиделся. Без дальних слов взял свое животное под уздцы и увел, поручив его другим. А в этот двор больше не ступала его нога. До самой его смерти...

Живя в городе, Гулиа все время мечтает о сельском житье-бытье. И вот в селе Тамш он приобретает великолепный лесистый участок в несколько десятин, нанимает пильщиков и распускает каштан на доски. Поэт серьезно мечтает о собственном уголке в деревне. Однако бывают моменты, когда мы уже оказываемся не хозяевами своей судьбы. События захватывают нас и влекут куда-то.

Гулиа становится в Абхазии повсеместно известным, еще не издав ни единой книги стихов. Никто не пропагандирует его творчество, о нем не пишут газеты и журналы. Мало того, власти устанавливают за ним надзор, вернее — за его рукописями. Власти начинают подозревать что-то недоброе, хотя особо «противозаконного» в стихах Гулиа обнаружить не удастся. Какие же стихи читаются в деревнях? О весне и осени, о лентях, тунейдцах, разоряющих народ. Нет ни слова против царя, нет призыва к свержению существующего строя. Правда, с точки зрения официальных властей, не очень-то к лицу переводчику священного писания заниматься писанием стихов...

— Дмитрий, — сказал ему однажды князь Чачба, прямой потомок светлейших князей, — правду ли говорят, что ты кропаешь стишки?

— Иногда пишу, князь.

— Это что же, выходит, ты вроде деревенского стихоплета?

Гулиа побледнел от негодования.

— Если бы, князь, ты не произнес слова «деревенский», я бы, пожалуй, обиделся. А теперь, поскольку ты сказал это слово, говорю тебе: да, вроде тех самых стихоплетов.

Князь извинился, но Гулиа уже не слушал его: повернувшись к

светлейшему спиной, он разговаривал с кем-то из знакомых. (Что взять с этого князька, если даже в просвещенной Франции стыдились профессии писателя? Стефан Цвейг вспоминает об огорчении матери Бальзака, которая не могла примириться с мыслью, что «сын мадам Бальзак, урожденной Саламбье, стал сочинителем книжек и газетным писакой». Несомненно, не лучшего мнения были об этой профессии какие-нибудь потомственные герцоги и графы.)

Прошло около двадцати лет с тех пор, как выиГла «Абхазская азбука». Много ли изменилось в культурной жизни абхазцев?

Гулиа не раз задавал себе этот вопрос. К великому сожалению, ответить положительно и без оговорок было невозможно. Дело шло медленно. Полезные шаги предпринимало Общество по распространению грамотности среди абхазцев, увеличивалось число абхазцев-интеллигентов. Учитель Андрей Чочуа внес новые исправления в алфавит и выпустил учебники. Широко стали известны труды Петра Чарая и Николая Джанашиа об Абхазии и абхазцах. Особо надо отметить деятельность педагога Фомы Эшба, беззаветно трудившегося «на ниве народного просвещения». Он работал во многих селах Абхазии и своим бескорыстием снискал огромную любовь. Его учебник по арифметике долго оставался образцом для школьных пособий на абхазском языке.

Словом, дело сдвинулось с места, но, с точки зрения человека, рвущегося вперед, родничок культуры только-только начинал пульсировать на доньшке песчаной чаши.

В конце десятых годов нашего столетия Гулиа преподает в Сухумской женской гимназии и реальном училище. Позже он станет работать в Сухумской учительской семинарии. Мы увидим его с сотней тетрадей под мышками, торопливо вышагивающим по треугольнику, который надолго станет символом его жизненных маршрутов: гимназия — реальное училище — учительская семинария. Борис Торба пишет о тех годах: «Очень много сделал Д. И. Гулиа для просвещения своего народа. Он долгое время учительствовал. Его учебники, написанные для абхазских детей, не утратили ценности и в наши дни».

Он все еще ходит в черкеске. Девушки старших классов взирают на него со страхом и любопытством, но, привыкнув к его романтическому одеянию, смущают педагога своими взглядами. Однако Гулиа кажется непроницаемым. Для этого есть все основания. Во-первых, он очень занят, он сгибается под грудой тетрадей, как дубок под ураганом. А во-вторых, он недавно в селе Джгерда похоронил жену, болевшую неизлечимой в то

время чахоткой. Нет, он решительно пресекает всякие вольности осмелевших учениц... А начальство настойчиво рекомендует отказаться от черкески.

— Дмитрий Иосифович, — корил его епархиальный наблюдатель церковных школ Степан Александрович Алферов, — настоятельно прошу вас: смените черкеску на учительскую форму.

— Не могу, — всерьез отвечал Гулиа. — Как это можно ходить в брюках без сапог? Нет, это невозможно. Если я шокирую кого-нибудь, то лучше уйти мне из гимназии.

— Уходить не следует, — увещевал Алферов (он тоже был в составе переводческой комиссии и подружился с Гулиа). — Вы не так богаты, чтобы бросаться заработком. А вот о костюме подумать придется.

— Когда-нибудь. Потом, — отмахивался Гулиа. — Кокарда вам пошла бы, — искушал Алферов. — Потом, потом, — оттягивал Гулиа.

И с кафедры учил строгим грамматическим правилам джигит в черкеске, тридцатилетний мужчина с пронизательными глазами, которые светились добротой и сочувствием к людям.

Гулиа снимал квартиру недалеко от нынешнего рынка. На работу отправлялся по улице Полицейской. Если надо было в гимназию — поворот направо; в реальное училище — налево; в семинарию — прямо через площадь, на которой ныне находится Дом правительства Абхазии.

А на улице Полицейской в доме номер семь жил мещанин города Сухума, старожил Андрей Иванович Бжалава, хорошо говоривший по-абхазски мингрелец, до крайней степени гостеприимный. Он содержал портновскую лавку на Старом базаре. Сам — отличный портной. Был женат на Фотине Николаевне, урожденной Элиава. Он сватался к ней, когда ей было всего тринадцать. Она отказала ему и вышла за другого. Довольно скоро овдовела. Андрей Иванович снова предложил ей руку и сердце.

— Нет, Андри, — сказала она. И снова вышла за другого.

А он все ждал. Он любил ее. Андрей был упрям и дождался-таки своего: она вновь овдовела.

— Уходит твоя красота, — сказал он, выждав положенное время.

Она подумала и согласилась стать его женой. Андрей Иванович выстроил небольшую хибарку в две или три комнаты. Здесь родились два сына и дочь Елена, или попросту Леля. На ту пору, когда по улице дважды на день (туда и обратно) проходил учитель Гулиа, ей было семнадцать лет. Его хорошо знали в городе. Не заметить его было просто невозможно: джигит на улицах Сухума, где ходят ordinarily одетые люди!

Он всегда проходил сосредоточенный, не глядя по сторонам. Шаггал быстро, почти всегда был взмылен. Казалось, вечно куда-то опаздывает этот Гулиа. А на деле, в отличие от многих своих соотечественников, он был точен. О нем можно было сказать, что он аккуратен во времени, как немец, — всегда минута в минуту. Работая в управлении по делам искусств Абхазии, я однажды разослал повестки драматургам, приглашая их к десяти утра на совещание. Спать я лег поздно: где-то заседал. Утром проспал и наскоро хлебал чай. Отец торопил меня и, наконец, сердито начал одеваться. «Я опаздываю на совещание», — сказал он. «Куда же?» — полюбопытствовал я. «В управление по делам искусств». — «Так я же провожу это совещание. А я еще дома. Ты не опоздаешь ни в коем случае». — «Нет, — сказал он, — я буду ровно в десять, согласно повестке, подожду немного и уйду». Делать нечего — пришлось бежать полуголодным...

Как-то раз Леля из озорства напустила на него собаку. И тогда он «приметил» ее. Скорее всего сделал вид, что не знал ее прежде. Ему давно говорили о ней. Расхваливали на все лады. Она и в самом деле была недурна: тонкий стан, прекрасная фигура, милое, немножко шаловливое лицо и задорные глаза. Фотография того времени дает представление о ней, семнадцатилетней цветущей девушке, которую родители держали в ежовых рукавицах. Она училась в гимназии, но, чтобы «не заболели глаза» и «не испортился цвет лица», забрали ее оттуда и посадили на «домашнее обучение». («Выйдет замуж — к чему премудрость наук?»)

Одним словом, его друзья и ее друзья стали прилагать некоторые усилия, чтобы поженить их. С ней, по-видимому, дело обстояло полегче, ибо судьба девичья была такова — выходи, не засиживайся дома. А ему следовало семь раз отмерить, прежде чем впрягаться в семейную упряжку.

И вот Гулиа все чаще сидит дома, в голове бродят необычные мысли. Что делать? Как дальше жить? Стихи, стихи лезут в голову. Надо серьезно поразмыслить над этим. Гулиа подготовил книжки стихов. Если удастся напечатать их, то тем самым будет положено начало абхазской письменной поэзии, абхазской литературе...

Об этом даже мечтать было как-то страшновато. Легко сказать — литература! Это же не только песни о любви, это не только звезды и луны в стихах! Это бессонные ночи и непрерывная борьба со злом и, может быть, поражение в неравном бою. Искать барыша в литературе — значит допускать непростительную ошибку: там не найдешь и лишнего куска хлеба, зато есть все возможности умереть раньше срока. Это как у того героя Альфонса Додэ с золотыми мозгами, которыми он расплачивался за все. А когда выскреб последнее...

Ясно же, что дальше. И так будет с каждым, кто с купеческой расчетливостью попытается подсчитать дебет и кредит, вступая в литературу. Для настоящего литератора существует только одна графа — графа «Издержки». И больше ничего. Ибо литература — это своего рода голгофа. Здесь ежедневно, ежечасно приносится жертва. Формулируя эти мысли, Гулиа писал почти через сорок пять лет: «Дело... не в материальной обеспеченности. Я никогда не слышал, чтобы литератор пускался в трудное литературное плавание ради заработка. Невозможно учесть издержки на этом поприще, если иметь в виду, что даже самый средний литератор расплачивается за неудачи ценою своей души и сердца. А подобные вещи, как это должно быть ясно, не измеряются деньгами». (Недавно я прочитал такие строки Уильяма Сарояна, напечатанные в журнале «Атлантик»: «Великое стихотворение не может быть оценено никакими деньгами никакой страны...», «Деньги можно только дать поэту, если он согласится их принять...»)

Время идет. Надо решать, как быть, надо выбирать дорогу в жизни, чтобы твердо идти по ней, чтобы никогда не сворачивать в сторону, на менее опасную и менее трудную.

Я думаю, что в одну из таких минут жребий был брошен. Недурно убедиться в верности принятого решения, и Дмитрий Гулиа хочет посоветоваться. Впереди, по-видимому, скорая женитьба, поэтому не следует откладывать дела в долгий ящик. Слава богу, уже тридцать шесть — требуется полная ясность...

Да, надо посоветоваться. И может быть, даже не с одним человеком. Начать хотя бы с Алферова. У этого много скепсиса в отношении всего, что не касается его прямых обязанностей. Вообще говоря, недурно выслушивать мнения, которые идут поперек твоим. И довольно-таки противно, когда человек, учуя твое желание, изо всей мочи поддакивает тебе... Итак, решено, сначала — Алферов.

Гулиа попросил его о встрече, и они условились выпить кофе в одной из многочисленных кофеен. (Удивительно, город Сухум с тех пор вырос по меньшей мере раз в двадцать, и ровно на столько же уменьшилось количество чайных, кофеен, кондитерских, ресторанов. Не стало уютных духанов. Их еще застал Есенин в начале 1925 года. Он писал: «В сухумском духане потрогать приехал чужую лазурь». Наверно, это был последний духан.)

В кофейне, как обычно на Востоке, было шумно илюдно. Можно было «опьянеть» от одного лишь кофейного духа необычайной густоты. Новички

чувствовали себя здесь словно в курительной опиума: у них кружилась голова и учащенно билось сердце. Ну, а для любителей кофе это был суший рай. Они просиживали здесь часами, а в воскресенье — почти весь день.

Рядом со столиком сидел довольно крепкого вида старик и, размахивая руками, что-то доказывал своим собеседникам.

— Старик Чернявский за своим обычным занятием, — сказал Алферов.

— Он говорит о чем-то любопытном.

— Я нашел, — безапелляционным тоном рассказывал Чернявский, — такую мраморную дощечку. Вот здесь, у самого берега моря. Это Аррианова дощечка. Римский военачальник был в Диоскурии и оставил по себе память. Теперь это ясно: вон там была Диоскурия.

И Чернявский указал на бухту. Гулиа невольно посмотрел туда же: море было изумрудным, одного цвета с небом, такое легкое, почти прозрачное. Неужели оно могло стать могилой целого города?

— Вон там стояли триремы, — продолжал Чернявский. — Я уверен, что именно здесь проплывал Страбон.

Чернявский много лет до того доказывал, что малярия в Сухуме — от горы Саматаарху, покрытой густым еловым лесом. Он убедил городскую управу, что надо вырубить лес и тогда — конец малярии. Отцы города посовещались и сказали, что не согласны на это, ибо рубка леса обойдется слишком дорого. Тогда Чернявский взял на себя эту «тяжелую обязанность», о чем и было заключено соответствующее соглашение. Не просохли еще подписи под соглашением, как в «Сухумском листке» появилось объявление: Чернявский предлагал лес на выруб по сходной цене. Горожане бросились к горе, и она быстро облысела. А спустя полсотни лет, уже в наше время, ее начали снова озеленять. (Обо всем этом писал Гулиа в своих стихах «Мой город». Стихи полностью документальны.)

Гулиа не нравится самоуверенность Чернявского. «Дощечка Арриана», если она существовала когда-нибудь, ничего еще не доказывает. Местоположение Диоскурии не определяется одной дощечкой или формой бухты. Ссылаться на береговой рельеф — это все равно что, закапывая клад, заметить про себя: над тем местом стоит такого-то цвета и такой-то формы облачко. Пройдет лет двадцать, и Гулиа вернется к этому вопросу в своей книжке «Сухум не Диоскурия». Но об этом после...

— Бог с ним, с Чернявским. Мне хотелось бы вашего совета, Степан Александрович, — говорит Гулиа.

— Я слушаю, друг мой.

— Наверное, скоро женюсь, — продолжает Гулиа смущенно.

— Поздравляю от души.

— Нет, рано еще поздравлять. Я сейчас не о том... Скажите, что вы думаете об Абхазии и абхазцах?

— О-о! — воскликнул Алферов от неожиданности. — Право, не знаю, что и сказать. Вы знаете, я уважаю эту страну и ее народ, характер которого метко определил Чехов в одном из своих писем: честный и гостеприимный народ.

Гулиа сказал:

— Я немножко не о том: верите ли вы, что у этого народа есть будущее? Что у него может быть, например, своя литература, свое искусство, своя наука?

Алферов казался растерянным.

— Я только прошу откровенно, — говорил Гулиа. — Это важно для меня. Вы же знаете, что я стихи пишу. Я подготовил сборничек и хотел бы его издать.

— Сборник стихов? На абхазском языке?

— Да.

— А может быть, на русском?

— Нет. Во-первых, потому, что русский знаю слабее. А во-вторых, хотелось бы, чтобы народ читал на своем родном языке.

Алферов развел руками и недоверчиво поглядел на Гулиа. У того сверкали глаза, а крепко сжатые кулаки обосновались на краю столика, словно подготовившись к рукопашной схватке.

— Дмитрий Иосифович, — проговорил Алферов, — вы задали мне трудную задачу. Мне бы хотелось подумать.

— Я не тороплю. Дай нам еще кофе и воды похолоднее, — попросил Гулиа кофевара.

— Гм... — проговорил Алферов. — Давайте посмотрим в корень вещей.

— Отлично!

— Сколько тысяч абхазцев? Или говорящих по-абхазски?

— Около ста. Да около тридцати на Северном Кавказе. Да тысяч двести на Ближнем Востоке.

— В Абхазии сто?

— Да, около этого.

— Еще вопрос, Дмитрий: что у них есть, кроме «Букваря»?

— Учебники. Будут сборники стихов, совсем скоро!

— Так. А история есть? Откуда взялись абхазцы? Ведь каждый народ

имеет свою писаную историю. Она есть у абхазцев?

— Нет! — отрезал Гулиа, помрачнев.

— Допустим, ее можно составить, но создать литературу? Ее делает не один человек и даже не трое, а десятки.

Этот Алферов говорил вещи неприятные, но в них была своя правда.

Гулиа задумался.

— Я вот к чему клоню: что, если оставить учительское дело и заняться литературой?

— А семья?

— Что семья?

— Чем кормить будете? Да и себя тоже. Вы же не ангел, вам хлеб нужен. Самый обыкновенный, насущный. Нет, Дмитрий Иосифович, бросать школу решительно не советую.

— Значит, оставить всякую мечту о литературе?

Алферов был неумолим, поскольку обещал до конца быть откровенным.

— Да, бросить, — сказал он жестко. — Это игрушка дорогая, вам не по карману. Подумайте сами: малые народности по доброй воле ассимилируются с великороссами. Этот процесс в цивилизованной империи неизбежен. И его всячески следует приветствовать.

— Степан Александрович, — перебил его Гулиа, — только не разговаривайте со мной так, словно мы на собрании истинно русских^[1]. Если сто лет тому назад Секвойя составил азбуку для индейцев-геронов и просветил их, коих значительно меньше, чем абхазцев, то не понимаю, почему отказываться нам от собственного языка и литературы. Разве петь собственные песни на собственной земле не высшее благо?

Алферов покраснел.

— Дорогой, я слишком уважаю вас, чтобы обижаться. К слову сказать, союз истинно русских — это священный союз. Но это между прочим... Вы один из немногих туземцев, который вызывает глубокое к себе уважение образованностью и приверженностью традициям. Но один в поле не воин. А что такое народ, страна? Сплошная терра инкогнита. Неведомая пустыня, которая неизвестно еще каким рылом к вам обернется. Нет, Дмитрий Иосифович, оставьте эту затею — вот мой добрый совет. В противном случае... — Алферов поднял указательный палец. — В противном случае вас ждут тяжелые испытания, разочарования, а может быть, и голодная смерть. Нет, литература — дело ненадежное. Загляните в историю, и вы поймете... У вас, по-моему, прекрасные перспективы: народный учитель, а там, смотришь, экстерном сдадите экзамены и получите право

преподавания в средних учебных заведениях. Держитесь ближе к святой церкви, и она не обделит вас...

Долго говорил Алферов. А когда они встали из-за стола, Чернявский все еще ораторствовал. Гулиа подумал: «Алферов не прав, а я прав».

И они расстались.

Весь день хлестал дождь. За окном — сплошная водяная стена. Керосиновая лампа с зеленым абажуром мягко освещает комнату, до предела суживая мир.

Гулиа только что закончил новые стихи. Заново переписывает их. Потом переписывает отдельные строки, перечеркивает, заменяет другими, отказывается от целых строф, пишет новые. И долго глядит на желтую стену дождя...

Посмотрит какой-нибудь малосведущий человек на эту вечернюю картину — на одинокого холостяка, упершегося взглядом в окно, — и невольно подумает: вот бездельник, не знающий, как убить вечерок! Или: вот он, пустой мечтатель, без толку вперяющий взгляд в ночную темень! И мало кто поймет его, напрягающего ум, мучительно ищущего верное слово, болеющего душой за человека, за его достоинство, отдающего поэзии кровь каплю за каплей.

В этом мире купцов, торгашей и чиновников, ценящих только чистоган, он долгое время будет вызывать недоумение. Да и в самом деле: кто он? Что он? Просто учитель? Или, может быть, и впрямь стихоплет?

Нет, дело решенное: он пойдет во что бы то ни стало именно этим путем — неверным, часто обманчивым и наверняка трудным путем поэзии. Нет у него другого призвания!.. Но и школу он не бросит. Школа нужна народу, как никогда. Нужна не только литература, но и наука и история, которой все еще нет. Нужна добрая, хорошая книга, которая откроет народу глаза на окружающее. Да мало ли что нужно! Прежде всего нужна свобода, нужны земля, дома, пастбища, реки, моря. Народу нужен родной язык...

Ступая на литературную стезю, Гулиа дает себе отчет в том, как все это сложно не только в житейском, но и в политическом плане. Может быть, только вчера Гулиа понял с особой остротой, что значит писать стихи не о хорошей весне, а против могущественных негодяев. Это так же опасно, как стрелять из оружия по врагу: ответ может быть суровым, если не сразу попадешь в цель.

Вчера отозвал его в сторону тот самый переводчик Титу и шепотом произнес:

— Дмитрий, после работы я жду тебя в ресторане «Аврора». Очень

важное дело.

«Аврора» так «Аврора»! Надо же где-нибудь пообедать. И вот в укромном месте, озираясь по сторонам, Титу достает какую-то бумажку.

— Дмитрий, вот это прислали из Тифлиса. Секретно. Из канцелярии наместника. Требуют сообщить смысл. А какой там смысл? Ничего не пойму. О каком-то разбойнике. Ты же пописываешь стишки, так, будь добр, скажи, что это за чертовщина.

— Дай-ка сюда.

Дмитрий берет листок: в руках у него собственное стихотворение «Ходжан Великий». Прочел раз, прочел второй...

— Титу, а чьи это стихи?

— Черт разберет! Там ничего не указано. Это же следствие весьма тайное.

— Та-ак. Что же ты должен им сказать?

— Дать заключение, разумеется.

— А дальше?

— Пошлю всю эту ерунду, в Тифлис...

— Так вот, слушай, — говорит Гулиа, приободрившись. — По-моему, ты совершенно прав: это стихи про разбойника с большой дороги. Он изверг, его сыновья — тоже изверги. Они грабят людей, обижают вдов и сирот. Вот о каком человеке здесь говорится. Что же ждет подобного рода извергов? Геенна, адский огонь, божье наказание!

— Фу, черт возьми, и я так думал! — восклицает Титу. — Это же верно! Дороги должны быть вполне безопасными. Давай их сюда, завтра же отправлю заключение. Черт знает какими отвлекают пустяками! Давай выпьем!

Сборник стихов только что сдан в канцелярию наместника для разрешения к печати, а уже неприятность... Что же будет потом, после вывода в свет? Да и вообще разрешат ли печатать? Что взбредет в голову этому Титу? Правда, Титу — человек недалекий, но только ли с ним, Дмитрием, посоветовался Титу? Может быть, показал еще кое-кому?..

Сегодня 21 февраля 1911 года. Нынче день его рождения. Он сидит один, денег в кармане — кот наплакал, да если б и были, все равно сидел бы вот так, за работой, в поте лица выколачивая из сердца строчку за строчкой:

*День понедельник... Как будто добр денек!
Застал меня в трудах. Немало дел нашлось.*

*Того он и хотел. Иного ждать не мог.
Ведь жернова, хотя б в Каабу^[2] их возьмешь,
Зерно дробят. Вот точно так и я —
Я множу труд на труд всегда, день ото дня.
По правде говоря, лишь этого и ждешь!
Не пожалел бы сжечь я, точно сор,
Дни, не принесшие мне радости большой.
Сонм несвершенных дел всегда мой видит взор,
За недоделанное я скорблю душой.
Хоть горе не убьет, но все ж держусь трудом...*

(Перевод Леонида Мартынова)

Ему нынче тридцать семь. У него все еще нет ни кола, ни двора. Гол как сокол. Один-одинешенек. Брат учится, и его надо поддерживать. А сестра уже замужем, живет в селе Тамш... А здесь, в Сухуме, идет дождь, желтый дождь... Словом, довольно грустный день. Он знает: ежели решил идти непроторенной дорогой абхазской литературы, решил служить своему народу верой и правдой — значит к трудностям надо привыкать. Их будет все больше с каждым днем. Но стоит ли тогда жить?

Да, несомненно, стоит и нужно! Ибо все окупится радостью творчества, успехами культуры собственного народа, маленького, но гордого.

Дождь, желтый дождь за окном. Зеленый абажур. Приятный запах керосина.

*Вновь будет тяжело. Но ведь конец придет!
Грядущего я вовсе не боюсь.
Что видел я?.. Лишь множество забот!
Но, как всегда, пишу, но, как всегда, тружусь!*

Через неделю, шагая бульваром, он скажет своей невесте:

— Учти, Леля, у меня ни кола, ни двора. Пусть не обманет этот золоченый кинжал или позолота на шашке. Это все мое добро. В деревне давно не горит очаг моих предков. Я здесь, в этом городе, где у меня только бутылочка чернил, несколько перьев и стопка чистой бумаги.

Она хохочет — все это очень смешно...

А он продолжает очень серьезно, со всей ответственностью за судьбу этого милого, пока еще легкомысленного существа:

— Жалованье мое небольшое. Но, мне кажется, оно нас прокормит. Кроме того, я надеюсь издать книгу. Правда, от нее денег не жди, зато будет слава. Может быть, окажет поддержку Общество по распространению грамотности среди абхазцев. Лично я не падаю духом.

И смотрит на нее искоса: что скажет она?

А она думает совсем о другом: вот сейчас на них глядят из окон ее подруги. До смерти хочется знать, что они скажут ей...

— Я полагаю, что мне необходимо сдать экзамены...

Она хохочет. Он не очень ее понимает. В чем дело? И она вынуждена кое-что объяснить.

— Мне стыдно, — говорит она. — Сейчас из-за этих занавесок на нас пялят глаза.

— Как так пялят?

— Очень просто. Наши соседи — большие сплетники.

— Что ж, пусть себе на здоровье болтают... Я прошу повнимательнее слушать меня, а не о соседях думать. Это и тебя немножко касается...

«Они обсуждают каждое наше движение, каждый жест», — думает Лея, и ей становится очень весело...

А осенью 1911 года (11 октября) они поженились. Во дворе отца Елены Андреевны были накрыты столы. Играл военный оркестр. Гостей была уйма. Вино, что называется, лилось рекой. Андрей Иванович ничего не пожалел, лишь бы в грязь лицом не ударить.

Венчание происходило в городском соборе. Было много людей и много бенгальского огня.

— Огни над головами, огни под ногами, — говорит Елена Андреевна, вспоминая тот день...

Гулиа вместе с женой уехал в Тифлис. Это было в 1912 году. Скоро он возьмет в руки свою первую книжку стихов на абхазском языке. И все-таки он сможет написать с полным основанием: «...я не имел возможности развивать свою работу; кроме препятствий — поддержки ни от кого не получал. Поэтому моя работа шла очень медленно».

Пушкин и Байрон умерли примерно в одном возрасте: тридцати шести — тридцати семи лет. Гулиа в этом возрасте только начинал осмысленную во всех отношениях литературную деятельность. Чтобы писать стихи, ему пришлось создавать «Букварь», закладывать фундамент для абхазских школ и всеми силами защищать своих соотечественников от произвола властей.

Не слишком ли велика нагрузка для одного литератора?

В 1912 году появляются на свет «Стихотворения» Гулиа, а через год — небольшая книжечка «Любовное письмо». Литература есть непрерывный процесс. Но она где-то берет свое начало. И этим началом может быть только и только жизнеспособный родник, могущий создавать русло, не уходящий куда-нибудь в песок.

Эти две книжки обладали всеми необходимыми задатками, чтобы дать начало настоящей литературе. Во-первых, это были зрелые книжки, они стали оружием в борьбе умов. А это уже больше чем поддела. Во-вторых, они явили прекрасную форму, и читатель был изумлен ее разнообразием. Шалва Инал-ипа пишет о сборнике «Стихотворения»: «Это небольшая книжка является провозвестницей рождения абхазской художественной литературы и одновременно первым серьезным шагом на пути создания литературного языка».

Главной отрицательной и зловещей социальной фигурой в то время в Абхазии был князь-кровопийца. В собирательном смысле кровопийца — это и князь, и царь, и фабрикант... Они действительно пили кровь народную, и другого, более точного слова, чем «кровопийца», не придумаешь. Значит, если ты литератор и уважаешь себя и свое дело, которому служишь верой и правдой, наноси удар в главное. Иначе твоё творчество будет походить больше на ласточкино щебетание, нежели на серьезный разговор. Неспроста писал Гулиа: «Стихийно возникший во мне протест против насилий князей и дворян я выражал в своих стихах, которые издавал на свои средства и бесплатно распространял среди крестьян». (Мы, его дети, долгое время оберегали эти книги от мышей и сырости, чистили их, сушили на солнце, ибо «распространялась» книга медленно. Гулиа в своих стихах писал: «Я весь тираж на этой вот на собственной спине снес в дом. И ждал, когда зайдет случайный гость ко мне... Книгу для него несущую из кладовой. Там сырость с книжечек моих моя стирала имя, и мыши, обнаружив их, одни питались ими...»)

Говорят, что Абхазия, как и многие тогдашние земли Российской империи, находилась под двойным гнетом. Это не просто слова. Такова была реальность, причем тяжелая: эта система действовала подобно двухступенчатому насосу, наращивающему вдвое, а то и втрое силу давления.

Крестьянин скорее существовал, чем жил. Ведь и лес растёт. И горы зеленеют. И скот пасется на лугах. Крестьянин был лишен главного — свободы. Он жил под страхом, и страх был пуще голода. Он изгибался в три погибели перед каким-нибудь гнилозубым князьком или кривым, много

воображающим о себе дворянином. Живя у себя, на своей земле, он не понимал языка чиновников, взимавших с него налоги, начальника, кричавшего на него, судью, судившего его. Крестьянин был превращен всем ходом той жизни в человека, лишенного множества условий для сносного существования. И это при всем том, что в нем самом жила природная культура. И это при всем том, что был он горд и необычайно обидчив. Государственная машина — типа колониальной — прочно держала его в жестких рамках. Кто был виноват во всем этом? Крестьянин знал точно: князь, дворянин и все они — кровопийцы, во главе с царем.

Дмитрий Гулиа пишет стихи о Великом Ходжане. Они опубликованы в первом сборнике. Я уже говорил о том, какую реакцию цензуры вызвали они. Царские власти в своем высокомерии к «туземцам» не изучали местные языки. Благодаря этому стихи «Ходжан Великий» увидели свет. Можно сказать без преувеличения: их читала наизусть вся Абхазия. Да их и нельзя не заучить. Они как бы специально написаны для того, чтобы легко запоминались. Вот как звучит первая строфа «Ходжана Великого» в русской транскрипции:

*Сгу дахвадзейт Ходжан-ду,
Инхара нмазара ивын-ду,
Иашта, и боура ица-ду.
Нас уй иоуми йов-ду?*

Так начинается это стихотворение, я бы сказал, историческое для абхазской литературы. После его появления не могло не быть литературы, разве что случилось бы нечто невероятное. В русском переводе это четверостишие с некоторым приближением означает: «Право, мил мне Ходжан-ду. Ну, не славный ли хозяин? Урожай в его саду и надел его — бескраен». Глубокая ирония сочетается с четкой бытовой картиной изобилия и благополучия в представлении простого крестьянина. В самых «доброжелательных» выражениях, за которыми явственно слышится скрежет стиснутых в негодовании зубов, рисует поэт образ преуспевающего кровопийцы. И семеро сыновей его — словно две капли воды. Число «семь» имеет в абхазском народном творчестве, впрочем как и в творчестве многих других народов, символическое значение. Семь сыновей, семь богатырей обычно у кого? Разумеется, у царя. Это понимал и младенец. Абхазскому крестьянину не приходилось разжевывать, о ком идет речь: о большом князе, о великом князе, о царе!

Это стихотворение блеснуло, словно молния. Оно призывало к борьбе со злом, с самым главным социальным злом. Сила «Ходжана Великого» была бы в сотни раз меньшей, если бы не его великолепная форма, если бы не свободная, яркая, точная манера письма. Как в этом, так и в других стихах Гулиа никогда не поступался смыслом в угоду рифме или ритму. Стихи как бы сами собой отливались в неповторимую форму, которую можно смело назвать гулиевской. Стихи эти невыносимо трудны для перевода. Зоя Кедрина пишет: «Многообразно ярки стихи Д. Гулиа: они то лиричны, то сатирически остры, то романтичны, но всегда открыто сердечны, ясны по мысли и прозрачны по форме». Все эти слова можно в полной мере отнести к первому сборнику. В этой книге, как в фокусе увеличительного стекла, отразилось все многообразие поэзии Гулиа, о котором говорит Зоя Кедрина.

Вызвав ненависть читателя к Великому Ходжану, пригвоздив кровопийцу острым словом, Гулиа предоставляет самому богу завершить дело тризной. Он пишет:

*Сгу далсит Ходжан-ду,
Гумбул-джбара сыов-ду,
Дыкам щийуаэ анцва-ду,
Далемыжи амца-ду!*

Переводится это приблизительно так: «Право, мне жаль Ходжан-ду! Знал лишь прибыли он цену, но и он узнал беду: ввергнул бог его в геенну!» Итак, Ходжан убит морально, а кремация, оказывается, за богом. Так кончаются эти стихи.

Я помню, как в тридцатых годах некоторые абхазские критики с серьезным видом писали о «мистических и религиозных мотивах» в творчестве Гулиа. Кстати, и этот господь бог, главный сотрудник адского крематория из «Ходжана Великого», тоже вызывал «недоумение». Я помню, как один переводчик даже видоизменил текст, «поручив» народу покончить с кровопийцей Ходжаном. Автору приписывалась «проповедь христианского смирения». И это в стихах «Ходжан Великий»! Даже ребенку ясно, что библейские образы в поэзии не признак религиозного фанатизма. Гулиа перевел евангелие, и, как утверждают знатоки, перевел блестяще, но я не помню, чтобы отец осенял себя когда-либо крестным знамением. Он относился к тому разряду людей, которых хорошо охарактеризовал Омар Хайям: «Полубезбожники и полумусульмане».

(Здесь, в применении к абхазцам, следует перефразировать: «полухристиане».)

Была еще одна зловещая фигура в старой Абхазии: это тунеядец, бездельник, обжора и пьянчужка. Ему безразлична судьба народа. Главная забота его: пить и есть за счет других. Это опасные трутни, которым чуждо все, что близко его соотечественникам. Такому ничего не стоит предать своих друзей; с его точки зрения, грош цена всему, что дорого народу: родная грамота, родная культура, родной язык. Он едва шевелит пьяным языком, мелет бог знает что, ночует там, где застанет его ночь. Одним словом, это гуляка, «ищите хоть месяц — сыскать не удастся второго такого лентяя абхазца». Он должен исчезнуть навсегда, нет такому места среди честных людей! — говорит поэт.

Гулиа воскрешает образы из старинных легенд, исполненные благородства, честности, геройства. Он как бы говорит, обращаясь к своим читателям: вот как жили наши в старину, как были они красивы и сильны, и мы можем стать такими же, только нужно захотеть этого. В стихотворении «Абрискил» поэт воспеваает легендарного богоборца, гордого богатыря. А в другом — «Пистолет Есшоу» — показывает умного и великодушного человека, сильного телом и духом. Поэт словно говорит читателю: мужественного и честного пуля не берет, такой всегда выйдет победителем из любого поединка.

В первых книжках Гулиа мы находим прекрасные образцы пейзажной лирики («Весенний дождь») и, разумеется, любовной. Последняя отличается огромной задушевностью и какой-то особенной, народной простотой.

«Любовное письмо» вышло в 1913 году. Это диалог между юношей и девушкой, легкое пикирование, порою переходящее в устах девушки в язвительное. Когда абхазский композитор Иван Лакербай переложил стихи на музыку, то песня получилась естественной, точно прожила тысячу лет. (Недавно Мушни Хашба написал мне о том, как на одной свадьбе в селе Лыхны танцевали два старика, в то время как импровизированный хор исполнял «Любовное письмо».)

Вот начало диалога в русской транскрипции (юноша превозносит до небес девушку, в которую влюблен):

*Сымыш, сыцых, сылашара,
Сшьакар — канфёт сыхаара,
Сыджимш, кякя, сылахь чаша,
Сымра, сымза, сияц, шаша.*

На мой взгляд, начало абхазской поэзии было блистательным. Не надо быть особенно прозорливым, чтобы понять, что такой поэзии обеспечен успех. Она нужна была народу. Становилось понятным, что поэзия не забава, а дело серьезное.

Эти две книги, созданные между 1906 и 1913 годами, были, в сущности, итогом прожитых лет. В них концентрировались воля к свободе, любовь к народу, упорство в достижении почти недостижимого. Михаил Лакербай пишет: «Мы, его ученики, по сей день любим и ценим его как основоположника всех (именно всех) культурных начинаний в жизни нашего абхазского народа. Любили и любим его за его огромную человечность, упорство, последовательность, целеустремленность и бесстрашие в осуществлении этих благородных задач».

Так или иначе основа была заложена, и поэту уже мерещилась литература, в которой десятки имен, десятки сердец и десятки прекрасных умов. Главное было сделано: налицо мысли, облеченные в прекрасную форму, мысли страстные, горячие. Налицо разнообразие поэтических жанров. Зоя Кедрина пишет по этому поводу: «Многообразие жанров, присущее литературному творчеству Д. Гулиа, обычно для писателей, основополагающих литературу...»

Исследователи творчества Дмитрия Гулиа указывают на фольклор как на один из источников его поэзии. Подлинное изучение устных произведений абхазцев началось сравнительно недавно. А русский читатель только-только знакомится с ним. Семен Липкин пишет: «Абхазцы — небольшой народ, но то, что они создали в изустном творчестве, огромно»; «...сам народ, талантливый и зоркий, рассказал о себе в старинных сказаниях и главным образом в великом нартском эпосе...»

В общем это верно: творчество Гулиа неразрывно связано с устным творчеством народа. Дело, разумеется, не только в том, что поэт написал стихи об абхазском Прометее — Абрискиле, и не в том, что переложил на прекрасные стихи легенду об Есшоу, а в той порою невидимой, но прочнейшей связи с фольклором, которая придает неповторимую национальную прелесть всей поэзии Гулиа.

Недавно появилось в переводе на русский великое творение абхазского народа о нартах — «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев». Это произведение во многих отношениях поможет понять душу народа, поэтому остановлюсь на нем подробнее.

Сказы о нартах любимы в горах Абхазии. Считается, что нет лучшего времяпрепровождения на досуге, чем слушать рассказы о нартах — этих богатырях древности. У костров после работы на полях или после охоты на горных склонах начинаются нескончаемые рассказы о нартах, об их великих подвигах.

Эти рассказы менее всего походят на рассказы апологетов, превозносящих деяния богатырей. Это рассказы живых людей со своим личным, пристрастным отношением к нартам и их приключениям.

События передаются в форме живой речи, архаизмы встречаются лишь изредка. И это понятно: сказитель — человек сегодняшнего дня, и он повествует своим языком. Это не плавное повествование равнодушного человека, но рассказ горца, кровно заинтересованного в том, чтобы держаться правды о нартах и передать ее своим детям. Эта правда не всегда благоприятна для братьев-богатырей, ибо они тоже живые люди и им присуще не только величественное, богатырское, но и многое из человеческих слабостей. А сам главный и любимейший герой — Сасрыква? При всей симпатии к нему сказитель отметит и отрицательные его черты. Можно ли, например, зазнаваться даже богатырю, воображать, что нет в мире никого сильнее тебя?

Мудрой Сатаней-Гуаше, матери ста братьев-нар-тов, не по душе такое бахвальство. И Сасрыква вскоре убеждается, что есть существа на свете и посильнее его. Он испытывает унижение, он познает, наконец, что сила вещь относительная, что не следует впадать в гордыню. Тяжелый урок не прошел даром. Сасрыква, кажется, приходит в себя, как после тяжелого сновидения.

Человек есть человек, если даже он богатырь. Жизнь его полна изгибов. Прежде всего жизнь его конечна. Богатырь Сасрыква не раз встречается с бедой. Его преследует зависть братьев. Он теряет сыновей. Гибнет его любимая жена. Наконец прощается с жизнью и он сам — великий герой, побывавший в далеком мире, победивший страшного дракона и избавивший от несчастья жителей этого далекого мира. Рожденный из камня, закаленный кузнецом Ай-наром в кипящей стали умирает, как простой смертный. И если последить за ним внимательно, Сасрыква и есть простой смертный со всеми чувствованиями своими, любовью и ненавистью.

Но какими бы ни были недостатки героя Сасрыквы, характер его цельный, литой, как та сталь, в которой его выкупали при рождении. Основная черта — это приверженность к делам справедливым. Сасрыква — человек честный, преданный братьям, готовый в любое мгновение

ринуться на врагов, угрожающих родной земле.

Правда, не всегда братья отвечают ему хорошими делами. Снедаемые завистью, они даже пытаются погубить Сасрыкву. Братья постоянно третируют его, ибо он, Сасрыква, незаконнорожденный. Однако Сатаней-Гуаша, как бы символизирующая совесть народную, целиком на его стороне. Он ее любимый сын. Герой эпоса, любимый герой народа — незаконнорожденный! И в этом тоже высокая гуманность эпоса о нартах.

Я не собираюсь анализировать характеры героев сказания, несомненно стоящего в ряду прекрасных произведений человечества. Но нелишне заметить, что произведение это очень древнее, как и сам абхазский народ. И хотя мы будем еще иметь возможность поговорить об истории абхазцев, несколько штрихов хочется отметить уже здесь.

Абхазцы жили на Кавказе испокон веку. Ученые находят в горах дольмены — доисторические каменные погребения. Этим многотонным сооружениям тысячи и тысячи лет. (Имеются находки и более древние.) Отсюда ученые делают вывод, что человек в Абхазии поселился давным-давно. Но почему бы, собственно говоря, не селиться ему в очаровательной стране? Другое дело, что это были за люди. Предки современных абхазцев? Может быть — да, может быть — нет.

Обозримое историческое прошлое дает основание для утверждения, что еще до нашей эры в Абхазии, или, как ее называют сами абхазцы, Апсны, жили прямые предки нынешних абхазцев. В разное время они назывались то абасхами, то абасками, абазгами и абсилами, то обезами (в древнерусских летописях). Нетрудно заметить, что все эти названия в какой-то степени являются производными от самоназвания абхазцев: абас-уа, апс-уа. Апс-ны — значит страна апсуа, страна абхазцев. Но есть еще и другое объяснение, которое часто встречается в литературе: псы — душа, ны — страна, страна души. Но это уж область поэзии, а не науки.

Язык — абхазский принадлежит к особой абхазо-адыгской группе кавказских языков. В лингвистическом смысле он родствен кабардинскому, адыгскому, черкесскому и аутентичен абазинскому и убыхскому (убыхи — я уже говорил об этом — в прошлом столетии исчезли с Черноморского побережья района Адлер — Сочи).

В древние времена Абхазия, как часть Колхиды, имела прочные связи с Элладой и Римом, позднее — с Византией, Венецией, Месопотамией, Генуей. Эти государства стремились к берегам Кавказа в погоне за наживой. В Абхазии были основаны города-колонии, среди которых особенной известностью пользовались Диоскурия и Питиунт.

В 1960 году под Майкопом была найдена каменная плита с

таинственными знаками. Георгий Турчанинов, известный ленинградский эпиграфист, определил, что знаки эти — древнефиникийские (и интерпретировал надпись при помощи абхазского языка, предварительно попытавшись прочесть ее по-финикийски, адыгейски и на других языках Кавказа и Ближнего Востока).

Что же сообщает плита?

Какой-то строитель — человек грамотный — оставил рельефную надпись о том, что великий царь такой-то на окраине своего государства руками местного правителя заложил город или крепость на двадцать шестом году царствования в месяц сева. Свое исследование Турчанинов опубликовал в «Вестнике древней истории» (№ 3, 1965, Москва). Академик Василий Струве определил его как «несомненно крупное научное открытие в области истории Кавказа и Ближнего древнего Востока...»

Майкопская плита — памятник древнейшей письменности Кавказа — свидетельство связей Колхиды, в том числе Абхазии, со странами Ближнего древнего Востока...

Христианство в Абхазию проникает в первые века нашей эры. Уже в шестом столетии Пицунда является резиденцией епископа абхазского. В восьмом-девятом веках мы видим сильное Абхазское царство, противостоящее агрессивным устремлениям арабов и персов. В средние века начинается упадок: Абхазия сжимается до нынешних границ, до состояния княжества, которое турецкий султан завоевывает без особого труда и напряжения.

Трагедией абхазцев, как и многих сотен тысяч горцев Северного Кавказа, — повторим еще раз — было махаджирство. Эти ужасные события как бы увенчали многовековые страдания абхазцев, о которых хорошо сказал молодой поэт Юрий Лакербай: «Старые, старые боли в землю глубоко зарыты, камни абхазского поля, вы — как надгробные плиты!...»

Но вернемся к эпосу.

Нартские сказания вы можете обнаружить и у народов Северного Кавказа. Не является ли абхазский нартский эпос перепевом уже существующих? Этот вопрос я задал себе, когда абхазские товарищи предложили мне перевести «Приключения нарта Сасрыквы и его девяти братьев», или «Нартаа», как сами абхазцы называют свой эпос, на русский язык.

И, как всегда в литературных делах, я тогда первым долгом посоветовался с отцом.

— Задумано замечательное, — сказал отец. — Кабардинцы уже издали

свой эпос о нартах. Издали эпос о нартах и осетины. Абхазские нарты никак не будут копией ни того, ни другого... Но вот времени на перевод уйдет немало.

— На мою долю приходится только проза, — пояснил я.

Отец улыбнулся:

— Нарты — произведение прозаическое. Стихов очень немного. Поэтому взвесь сначала свои возможности. На перевод уйдет год интенсивного. труда, а то и побольше.

Пока я раздумывал, отец продолжал:

— «Нартаа» — вполне законченное произведение. Герой рождается, живет, борется, умирает. Хотя он и богатырь, но любит, как все, побеждает врагов, и порой испытывает горечь поражения, и нередко подвергается насмешкам. Ему не чуждо и самолюбование. Он силен, но есть существа и посильнее его. Он сбивает звезды. Он посещает многие земли, но нет для него земли краше Апсны... Советую тебе взяться за перевод, если кое-что и придется отложить в сторону.

Я сказал, что берусь.

— Тебе придется решить главный вопрос, — говорил отец. — Произведение это очень и очень древнее, с более поздними наслоениями, но оно не было записано до последнего времени. Надо подумать над тем, каков будет стиль. Много архаики в словах? Неверно. Совсем без архаики — тоже неверно. Надо решить: кто является рассказчиком? Неведомый старец начала нашей эры или сказитель наших дней?

— Сказитель наших дней, — сказал я.

— Пожалуй, так. Значит, минимум архаики. Иначе это будет искусственно. Речь должна быть живой. Подделка здесь нетерпима.

Мне казалось, что все уже ясно. Однако я чувствовал, что отец еще что-то хочет сказать. Он неторопливо достал папиросу, чиркнул спичкой, закурил.

— Вот что ты должен знать совершенно точно, — сказал он, — рассказы о нартах — любимейшие рассказы абхазцев. Нет ничего для нас более занимательного. Поэтому надо заранее решить, что это будет. Академическое издание с вариантами сказов для академических библиотек или живая книга для народного, массового чтения?

— Я за второе, — сказал я.

— И я тоже, — сказал отец.

И вот теперь, когда нет уже отца в живых, а книга «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев» вышла в свет, могу сказать, что на протяжении всей работы над переводом я старался

держаться советов отца, его слова звучали в моих ушах, ими руководствовался я при малейших затруднениях...

Но вернемся назад, к тринадцатому году. В год выхода второго сборника стихов в семье Гулиа рождается сын. Им оказался автор этих строк. В одном из рассказов я писал: «Его три дня честью просили появиться на свет. И, лишь только доведя свою мать до крайне тяжелого состояния и под угрозой быть расчлененным и таким образом доставленным на свет белый, он, наконец, соблаговолил родиться, оглашая мир безудержным ревом». Да, так оно и было. И меня явно расчленили бы, если бы не дедушка, который решительно заявил:

— Я хочу внука. Подождем, моя дочь выдюжит.

И действительно выдюжила.

Это событие произошло в маленьком домике, которого уже нет. Пока ребенок рос месяц за месяцем, привыкая к новому для него миру, во дворе подымался новый дом. Его строил Дмитрий Гулиа, подбадриваемый своим тестем. А тесть, он же мой дед, рассуждал так:

— Какой же это человек без недвижимости? Он не может даже подать голос за какого-нибудь купчишку на выборах.

Это было так, и Андрей Иванович по-своему был прав. Так или иначе требовалась крыша для семьи, и ее воздвиг Гулиа, заняв деньги в кредитном банке. Эту сумму пришлось бы выплачивать всю жизнь, если бы во время революции не снесли в банк мешок денег, уже совершенно обесценивающихся. Таким образом, долг оказался погашенным.

Ну, а покуда дом строился. Вианор Пачулиа пишет: «В 1912 году на Полицейской улице появился новый дом под номером семь. Его построил поэт и педагог Дмитрий Иосифович Гулиа». Дом и сейчас стоит почти в том же виде. К нему впоследствии был пристроен кабинет Гулиа. А в свое время дом остался незаконченным.

Над миром собиралась гроза. Кайзеровский военный корабль «Пантера» уже совершил зловещий «прыжок». Еще в 1910 году появилась комета Галлея. Люди предсказывали несусветное, чуть ли не конец света. Гулиа тогда же написал стихи, высмеивающие подобные бредни, и читал их на сельских сходах. Многие старики хорошо помнили его выступления. Смел Чочорйа из Адзюбжи рассказывал: «Мы были в страхе от виденного, а Дмитрий смеялся. Понемногу стали смеяться и мы. Мы укрепились духом: если бы нам, крестьянам, грозила беда, то первым о ней сообщил бы Дмитрий». Одним словом, слухи по империи носились самые безрадостные.

В 1914 году разразилась война.

Почти всех плотников мобилизовали, стройку дома пришлось прервать. (Очень долго в одной из комнат имелась дверь, из которой можно было прыгать на лестницу с высоты двух аршин. Потом эту дверь, к нашему большому огорчению, заколотили.)

В том же 1914 году в семье Гулиа родился второй сын — Владимир. Хлопот прибавилось. Дмитрий Гулиа бегал по школам, а в свободное время занимался сбором материалов по истории Абхазии: твердо решил написать научную книгу.

Он оказался заботливым и добрым семьянином. В память мою врезалась такая картина: мать шьет на машинке, рядом с нею отец пишет или роется в книгах, а мы с братом играем под столом. Мы могли шуметь, как угодно и сколько угодно, дергать скатерть и лазать под ногами — это не мешало отцу. Он делал свое дело так, будто пребывал в тиши удобнейшего кабинета. И это продолжалось годы, и мы ни разу не слышали:

— Уходите отсюда, вы мне мешаете!

Или такая, например, картина.

Мы с братом болели испанкой. И по нашему настоянию отец все воскресенье лежит с нами. Он читает нам «У лукоморья дуб зеленый», учит абхазским скороговоркам или турецкому алфавиту: «алеф, ба, та, са, джа...» А еще и греческому: «альфа, бета, гамма, дельта... о-мигolon, о-микрон...» И декламирует стихи Церетели, которого отец нежно любил всю жизнь... Только таким путем меня с братом можно было удержать от непрерывной французской борьбы, когда градусник у нас под мышкой показывал 39,5...

Абхазцев в то время не брали на военную службу. Они все еще по злой памяти считались «виновным населением». Это шло со времен покорения Кавказа. Ведь абхазцы последними сложили оружие. Но добровольцев записывали. Однако в каждом отдельном случае требовались хлопоты. Как-то один из родственников Гулиа приехал к нему из села Тамш. Это был, говорят, очаровательный молодой человек, необыкновенно начитанный и способный. Он просился на фронт. Ему очень хотелось повоевать — ведь его русские сверстники там, на фронте. Гулиа попытался отговорить, но все было напрасно. «Хочу воевать!» — и все.

Одним словом, Хурп Барганджиа (так звали молодого человека) попал-таки на фронт. В Курляндию. Года через два он погиб, и тело его денщик доставил в Тамш. Это была не первая жертва среди горячих сынов «виновного населения». Многие абхазцы отличились на фронте. А в революцию многие из них оказались с теми, кто подымал свой голос и брал

в штыки царизм.

Смутно, но тем не менее помню, как мы бежали на гору Хат-Хуа, которую сейчас называют Батарейной или Трапезией. Сухуму, как говорили тогда, грозили обстрелом «Гебен» и «Бреслау», два немецких военных корабля, переданных Турции, как союзнице Вильгельма II. Долго ждали грозного врага. И действительно, на горизонте появилось очертание броненосца. Сказали, что это и есть «Гебен». Как выяснилось позже, это так и было («Гебен» турки переименовали в «Явуз»). Он прошел мимо Сухума-Кале — как в то время официально именовался город, — наведя орудия на берег, но не сделав ни единого выстрела. И поплыл далее, на «север». Там были обстреляны Сочи, Туапсе, Новороссийск и еще какие-то мелкие пункты. Нагнав страху на все побережье, броненосец куда-то сгинул.

В 1916 году в семью пришла первая смерть: умер мой дедушка Андрей Иванович.

Вижу как живого. Он приехал из Кутаиса, куда ездил по делам, и дарит мне игрушечное ружье. Стоит в черкеске и в папахе. У него небольшая темно-каштановая борода.

Запомнилось и другое. Я на руках у отца, он указывает на окно соседнего дома и говорит:

— Помаши дедушке рукой. Он болен.

У него была черная оспа. К нему никого не пускали. Сердце не выдержало температурной нагрузки, и он умер на пятьдесят третьем году жизни. Хоронили его люди, переболевшие оспой. Ночью...

Незадолго до войны Гулиа познакомился с академиком Николаем Яковлевичем Марром. Марр в то время много и плодотворно занимался кавказоведением. В связи с этим изучение абхазского языка и истории он считал чуть ли не ключевой задачей. Еще до него ценный вклад в эту науку внесли Шифнер и Услар. Главнейшие вопросы кавказоведения обобщил Адольф Дирр. (Думаю, что не будет преувеличением, если скажу, что труды Дирра дали основательный материал целой плеяде кавказских лингвистов. Когда-то он работал в Тифлисе, изучил многие кавказские языки.) В разговорах с Гулиа Марр пылко и во многих случаях справедливо критиковал и Услара, и Дирра, и многих других. Это был темпераментный и смелый ученый. Он не чурался самых крайних точек зрения. Часто переходил от одной к другой. Слушать его всегда было полезно и любопытно. Помню, как он доказывал отцу, что абхазцы связаны с Востоком, точнее — с ближневосточной, афро-азиатской зоной. На это

Гулиа заметил:

— А как же с северным происхождением?

— Ах, да! — сказал Марр. — Я говорил об этом еще до войны. Нет, знаете, это не так. Юг! Вот где надо искать исконные связи Абхазии.

Итак, Север и Юг. Достаточно полярная точка зрения, не так ли? Спустя некоторое время Марр развивал совершенно иную теорию. Баски — вот где нить для разгадки абхазской исторической головоломки. (Рассказ Марра о происхождении абхазцев я постарался довольно точно передать в серии «Из устных рассказов моих друзей».)

Если Марр приезжал в Сухум или Абхазию вообще, то непременно бывал у нас дома. Вместе с ним навещали нас его друзья, и с утра до вечера велся разговор о суффиксах, префиксах, глаголах, именах существительных.

— Как это у них не болит голова? — говорила Елена Андреевна.

Что касается отца, он чувствовал себя в родной стихии: что-то горячо доказывал, что-то опровергал так же горячо. У меня сохранился набросок, на котором изображен Марр. Он сидел во главе стола, был толумбашем. А я рисовал его с балкона. Пил он, надо сказать, по-мужски. Когда ему показали портретик — удивился. И тут же предложил выпить «вне очереди» еще по стакану вина.

Гулиа методично и упорно собирал материал для книги по истории. Он утверждал, что каждый народ, если он достиг некоторого самосознания, должен иметь свою историю. Стихи в то время писал он не часто, полагая, что двух книжечек пока что вполне достаточно, а вот, дескать, на историю надо обратить сугубое внимание. Однако дело двигалось медленно — под рукою не оказывалось соответствующих книг, их приходилось подолгу искать. Часто вечерами он наспех делал большие выписки, чтобы наутро вернуть книгу ее владельцу.

В 1917 году нашу семью постигла еще одна смерть: скончался самый младший сын, Алексей, которому было около года. Я пораился, глядя на то, как убиваются родители: ведь глаза его не совсем закрыты. Алеша, казалось, все еще глядел на мир, который так ненадолго приютил его...

В город приходили дурные вести: война затягивается, с каждым днем все больше жертв. Приходят траурные извещения, газеты пестрят черными крестами, бывшие солдаты уже разгуливают по городу на костылях, разъезжают на тележках безногие.

Появились пленные австрийцы. Они работали на строительстве железнодорожного туннеля (недалеко от Сухумского ботанического сада). Строем ходили по улицам и пели странные песни.

На Батарейной горе установили шестидюймовые морские орудия. Время от времени они ухали. Снаряды проносились над городом и рвались в море. Это были учебные стрельбы. По врагу они, кажется, так ни разу и не выпалили...

Гулиа писал в «Стихах о мировой войне» (1915 год): «От холода окоченев, как мухи мрет народ. Число живых подобно тем, кто в смертный мрак сойдет». Нарисовав мрачную картину войны, поэт не доискивался, по крайней мере в поэзии, причин войны и «не искал выхода из войны». Сказать, что в то время он был аполитичен, полагаю, невозможно. Гулиа точно выражал свое отношение к тому, что видел, что чувствовал сердцем. Но ни к каким партиям формально не примыкал. Он задался целью создать родную литературу, написать историю родного народа. Это было не так просто. Силы его напрягались до предела. Жилось все труднее, надвигались тяжелые времена. Ученические тетради давили тяжелым прессом: Гулиа ежевечерне прочитывал до сотни тетрадей. Здоровье, к счастью, не подводило. Сердце и нервы вели себя хорошо: чувствовалась крестьянская подкладка.

Гулиа носил грубые ботинки, а в руках — палка, которой отец расшвыривал камни на своем пути. И мать, еще издали слышав его шаги, говорила нам:

— Папа идет.

Его шаг казался богатырским. Он всегда торопился домой. Часто являлся в поту, словно ускользал от погони, спешил к письменному столу. Наскоро поужинав и проверив тетради, отец раскладывал свои рукописи. Так он писал историю, писал, не имея под рукой научной библиотеки, никуда из Сухума не выезжая, добывая каждое новое свидетельство историков ценою огромных усилий. Никто не поручал ему этой работы, и тем более никто не собирался оплачивать ее. Очень мало кто из власть предержащих поощрял его. Только горстка абхазских интеллигентов — Самсон Чанба, Симон Басариа, Семен Ашхацаа, Платон Шакрыл и некоторые другие — подбадривала добрым словом. И Елена Андреевна, всегда веселая и неунывающая, помогала ему как могла: считывала цитаты, правила вместе с ним корректуры.

Хочу подчеркнуть еще раз: работа Гулиа над историей была скорее работой поэта, нежели историка в строгом смысле слова. Гулиа и сам понимал это. Он жаловался, что очень трудно писать книгу по истории, «не слыша звона лопаты археолога». Искренне вдохновленный теорией египетского происхождения абхазцев, он писал: «Для абхазского лингвиста надо ожидать двух важных событий: завершения великого словаря

древнеегипетского языка, предпринятого германским проф. Эрманом, и публикации результатов исследований хеттских языков». Я хочу обратить особое внимание на эту цитату. Нам придется вернуться к этой теме еще раз.

Как ни любил Дмитрий Гулиа преподавательскую деятельность, все-таки нигде не испытывал такого удовольствия от уроков, как в стенах Сухумской учительской семинарии. Она помещалась на горе Саматаарху, в здании бывшего пансионата «Эллада». Здесь учились молодые люди, съехавшиеся со всей Абхазии. Большинство из них желало посвятить себя служению народу. Здесь бурлила живая мысль. Идеи усваивались молниеносно, впитывались каждым, словно губкой. (Из стен семинарии вышли многие активные участники революционных событий.)

Иван Запорожский пишет о Гулиа: «Я преподавал вместе с ним в Сухумском реальном училище и в абхазской учительской семинарии. И вот тут-то я встретил в лице Дмитрия Иосифовича Гулиа доброго, прекрасного человека и педагога, чуткого, как эхо...» «Я частенько бывал в его гостеприимном доме, где мы за письменным столом, заваленным книгами и рукописями, дружески беседовали об искусстве и литературе...» «Особенно памятливы те минуты, когда после третьего звонка, на большой перемене, Дмитрий Иосифович читал мне свои стихотворения в учительской, в укромном — уголке, за книжными шкафами, подальше от злого глаза и «всеслышащих ушей», так как инспекция не дремала и ненавидела учителей, «хромающих на левую ногу».

Гулиа пытался привить молодым людям любовь к литературе, объяснял правила стихосложения, давал небольшие литературные задания. Поэт пристально всматривался в глаза слушателей и мысленно спрашивал себя: «Не этот ли?» Гулиа знал: непременно должны народиться молодые таланты — поэты и прозаики. В противном случае Алферов окажется прав, и вся жизнь будет понапрасну потеряна. Ибо каждому ясно, что литература — это цепь, творческая, никогда и нигде не прерывающаяся цепь...



Разразилась Февральская революция. Царь был свергнут. Наконец-то пал идол, трехсотлетняя, замшелая монархия рассыпалась в прах. Сюда, в Сухум, доходили из Питера, из Москвы волнующие вести. Однако не кончилась еще проклятая война. А ведь этого все ждали. Между тем Керенский надрывно звал к войне «до победного конца». Западные союзники заклинали Россию продолжать бойню любой ценой, опять же «до победного конца». А старое государство рушилось. В то время с особой силой зазвучали слова: партия большевиков, Ленин.

В Абхазии князья и дворяне, пережив первый испуг, вновь приходили в себя. Купцы торговали по-прежнему бойко, чиновничество рукоплескало Керенскому. Слово ничего особенного не приключилось. Но это так могло показаться только человеку наивному: хребет буржуазии был надломлен, уже нарождалось великое Октябрьское зарево.

Вот по улице вышагивает Дмитрий Гулиа. Посмотрите, на нем форменный сюртук, шапка с кокардой, под мышкой — кипа тетрадей, а в правой руке неизменная палка, которой он сечет крапиву у заборов или

отшвыривает камни, попадающие на дороге. На углу, недалеко от его дома, происходит случайная встреча с тремя абхазскими интеллигентами. Гулиа знает их: один из них — видный чиновник, а двое других — врач и дорожный инженер. Если бы они не окликнули, Гулиа прошел мимо: он всегда о чем-нибудь крепко думает.

— Что это? — спрашивает врач.

— Тетради ученические. Надо отметки выставить.

— И это нынче же?

— До утра, — объясняет Гулиа.

— Ничего себе работенка! Когда же отдыхаете?

Гулиа смеется.

— Когда пишу историю.

— Какую историю?

— Историю Абхазии.

— Это большое дело, Дмитрий, — говорит врач.

Однако остальные не очень с этим согласны. Чиновник говорит:

— Дмитрий, у тебя волосы седеют. Оставил бы ты свои тетради и историю и шел бы на видную работу.

— Я, пожалуй, так и сделаю, — шутит Гулиа, — когда допишу историю.

Инженер безнадежно машет рукой.

— Ты фантазер, Дмитрий. Неужели полагаешь всерьез сотворить абхазскую литературу?

— Думаю.

— Нет, вы послушайте его! Он это говорит из упрямства, но едва ли сам верит в собственные слова.

— Верю.

— Ив абхазскую литературу?

— Тоже!

— Но ведь это миф! Ты один будешь вертеться как белка в колесе, — говорит инженер. — Кому охота вкладывать деньги в безнадежное дело? Кому стихи нужны? А вот дороги — другой разговор! Шел бы лучше в подрядчики. При твоём авторитете это даст тебе сам-десять.

— Мне поздновато учиться коммерции.

Врач не согласен с теми, с двумя.

— Господа, вы явно пренебрегаете родной культурой...

— А где эта культура? — язвительно спрашивает инженер с полного одобрения чиновника. — Я что-то ее не вижу.

— И не увидишь! — отвечает Гулиа. — Если бы все рассуждали вот

так, то мы давно бы и язык свой растеряли!

Чиновник важен, как индюк. Еще бы, он из князей! Понятие о национальной чести считает вздором, к тому же вредным. Абхазцев всего сто тысяч. Что это, много? Не проще ли пристать к какой-нибудь великой нации? И литература готовая, и грамматика, и история... Инженеру эта мысль по душе. Он весело хохочет. Он говорит:

— Дмитрий, ты еще не стар. А при твоём таланте и энергии жил бы припеваючи — при реальном подходе к жизни. Учителишки и писаки жили и живут впроголодь. Не жалеешь себя, так семью пожалей. Я частенько проезжаю мимо твоего дома и вижу, как Леля ведрами тащит воду. Жалко ее!

Дмитрий потирает лоб.

— Да, жизнь не легкая. Это верно... Присесть к готовенькому пирогу — проще простого. Однако я твердо решил идти своим путем... Честь имею кланяться!

И он удалился. Трое смотрят ему вслед. Врач выговаривает инженеру:

— Он обиделся. Ну зачем так резко?

Однако Гулиа тут же забыл о них. Нет, не ради куска мяса живет человек на земле. Или любимое дело — или ничего!.. Придя домой, Гулиа набрасывает стихи и тут же читает жене. Называются они просто: «Вперед!» Вот неполный подстрочник: «Время изменилось, туча прошла, засияло солнце и нас всех разбудило. Мы видим ясно, что произошло в нашей стране. Двигайтесь вперед! Никто не отставай!.. Рухнула несправедливость, правда шагает. Зло упало наземь, и правда победила... Встаньте, товарищи, двигайтесь вперед!.. Дело полезное творите для нашей страны...»

Когда писались эти строки, Керенский уже бежал, переодетый в женское платье.

Уже гремело имя Ленина, страну захлестывала новая революция.

Михаил Делба пишет о стихах «Вперед!»: «Здесь Дмитрий Гулиа как народный писатель и просветитель, борец за дело трудящихся, который всю жизнь мечтал «помочь своим поэтическим трудом народу», сделал несомненный и большой шаг вперед на тернистом пути своего творчества».

К Гулиа приехали крестьяне из сел Адзюбжа и Тамш. Это были уважаемые старики. Коней привязали к забору, кнуты заложили за голенища и поднялись наверх. Дмитрия не было дома: он на работе. Елена Андреевна принимает гостей, угощает мамалыгой, сыром и вином. (Абхазцы говорят: «Если тебя не торопят сажать за стол, торопись скорее

вон!» Я не помню, чтобы мать когда-нибудь забывала это правило.)

Вот явился и Дмитрий. Он рад старым друзьям. Обнимаются. Церемонно усаживаются. А после обеда затевается разговор, ради которого приехали старики.

— Дырмит, — говорит один из них, — что же это в мире делается? Без царя, что ли, жить будем?

— Как видно, так, — отвечает Гулиа. — Разве это плохо?

— Да нет, не плохо. Но ведь все по-прежнему остается. Князя полнеют, дворяне пьянствуют. Ей-богу, на них, как и прежде, нет управы.

— Это потому, что в Абхазии хозяйничают меньшевики, — объясняет Гулиа. — Если бы не они, дело бы повернулось иначе.

— Значит, что же? Ты за большевиков?

— Я за тех, кто против царя, — уклончиво отвечает Гулиа.

— Кажется, и мы так думаем, — говорят крестьяне.

Назавтра вся беседа со стенографической точностью будет доложена в Тамше и Адзюбже. «Раз сказал Гулиа, значит это правда», — говорили крестьяне. И пол-Абхазии услышит и узнает его мнение.

А события быстро нарастали. Политическая атмосфера накалялась. Георгий Дзидзариа пишет: «Классовые противоречия в абхазской деревне уже к осени 1917 года настолько обострились, что в целях обеспечения организованности в борьбе против дворянско-помещичьей контрреволюции в Бзыбской Абхазии был создан крестьянский вооруженный отряд под названием «Кераз». Зарождение и вся дальнейшая деятельность крестьянской дружины «Кераз» проходили под руководством большевиков...»

Гулиа писал в своей «Автобиографии»: «Октябрьскую революцию я встретил доброжелательно, хотя, пожалуй, не очень точно представлял себе ее цели. Мне очень нравилось правильное разрешение земельной проблемы, нравился удар по помещикам и ленинское решение национального вопроса — жгучего вопроса всех времен...»

Как-то Гулиа ввалился к себе радостно-возбужденный.

— Леля, — сказал он, — моему одиночеству в литературе, кажется, приходит конец. — Гулиа от удовольствия потирал руки. — Вот какое дело. Сегодня была беседа с Самсоном. Это абхазец, учитель. Ты его знаешь. По фамилии Чанба. Оказывается, он поэт. Прочитал мне свои стихи. По-моему, это отрывки. Написаны блестяще! Я расцеловал его.

Елена Андреевна захлопала в ладоши.

— Браво, Дмитрий, ты всем утрешь нос! Вас уже двое! Это кое-что да значит.

— Еще бы! Он зайдет к нам и почитает...

Самсон Чанба — прекрасный поэт, прозаик и человек. Если кого-либо можно назвать воплощением скромности и высокого такта, так это Самсона Яковлевича...

Различны писательские судьбы. Есть писатели, творчество которых должно быть мысленно, словно пунктирными линиями, продолжено за пределы их физического существования. Только в этом случае можно полностью оценить тех, кто не успел создать своей главной или наиболее важной книги. К таким относится и выдающийся абхазский писатель Самсон Чанба.

Он пришел в абхазскую литературу в конце десятих годов нашего столетия. Его первым произведением была поэма «Дева гор» — гимн родной земле и родному народу. В образе героической Девы он рисовал Абхазию, пережившую не одну трагедию и почти чудом выстоявшую.

Он писал стихи, драмы и прозу. Его пьесы — первые оригинальные произведения абхазской драматургии. Писатель создавал образы соотечественников, боровшихся за свою честь и достоинство (драма «Махаджиры»), за свободу, против угнетателей (драмы «Киараз» и «Апсны Ханым»). Перед зданием Государственного театра Абхазии по праву поставлен памятник Самсону Чанба — основоположнику национальной драматургии.

Однако вершиной его творчества является повесть «Сейдык», названная так по имени одного из ее героев. Она была написана в начале тридцатых годов. Писатель шел по горячим следам жизни...

Впервые я увидел Чанба в типографии Адольфа Зайдшера, где печаталась газета «Апсны». Самсон Яковлевич заходил к нам довольно часто. Тогда между ним и отцом велись бесконечные беседы о литературе и абхазском языке. Помню, как он однажды вечером заехал к нам с законченной рукописью поэмы «Дева гор» и прочитал ее вслух за чашкой чаю. Он засиделся допоздна.

Отец внимательно просмотрел рукопись — уже «глазами» — и сказал коротко:

— Самсон, это хорошо.

— Я бы хотел, чтобы ее перевели на русский, — сказал Самсон Яковлевич. — Как ты думаешь, кого бы попросить?

— Может быть, Стражева? — сказал отец.

— И я так думаю. Я устно перевел ему поэму, и она заинтересовала его. Так он мне сказал.

Виктор Стражев был одним из русских символистов и в то время

проживал в Сухуме. В самом деле, вскоре мы читали поэму, изданную на абхазском и русском языках.

Я все-таки забегу вперед, чтобы тут же сказать еще несколько слов о Чанба. Самсон Яковлевич долгое время был председателем Центрального Исполнительного Комитета Абхазии и народным комиссаром просвещения. Владимир Маяковский писал в 1926 году: «Прямо с «Пестеля» припер в АБЦИК к Самсону Чанба, конечно, представиться...»

Самсон Яковлевич делился с отцом своими литературными планами, выслушивал его советы и рассказывал нам разные веселые истории. Он был человеком прекрасного таланта и чистой души. И очень обидно, что не мог он уделить литературе большего внимания и шире раскрыть свой писательский талант.

Как-то он навестил нас с небольшой книгой в руках. На ней была сделана надпись, которую я храню: «Нашему учителю по литературному творчеству Д. И. Гулиа — от автора».

Отец обнял его, и мы уселись за стол, чтобы скромно отпраздновать выход новой книги.

— Это хорошая книга, — сказал отец, читавший «Сейдыка» еще в рукописи. — Самсон, я желаю тебе много таких книг. Учти: каждая книга — подарок народу, и он высоко оценит твою щедрость.

Самсон Яковлевич поднял бокал и сказал:

— Дмитрий, мое единственное желание — это Верой и правдой служить абхазской литературе. Лично мне ничего не надо. Не нужны ни машина, ни новая квартира, ни высокое служебное положение. Если бы я мог писать книги, которые нравились бы читателям, это было бы наивысшей наградой для меня. И еще мне хочется целиком посвятить себя литературе, воспитанию молодых писателей. За нашу литературную смену!

Я не раз и не два встречался с Самсоном Яковлевичем, и каждая встреча с ним доставляла истинное наслаждение. Последние годы он работал председателем Союза писателей Абхазии. Был прост и обходителен даже с очень молодыми людьми. Терпеливо вел беседы в Союзе писателей. По складу своего характера, по душевной чистоте и культуре, образному мышлению, правдивости своей и партийной принципиальности в литературе Самсон Чанба был большим писателем. И успехи абхазской литературы неразрывно связаны с его именем.

Мы еще встретимся с ним в этой книге.

Задолго до установления советской власти в Абхазии появились литературные произведения, принадлежащие перу «природных абхазцев».

В Кутаисе, например, жил и писал стихи на грузинском и русском языках один из светлейших князей Абхазии, Георгий Чачба (в грузинской транскрипции — Шервашидзе): ему запрещено было возвращаться в Абхазию. Петр Маан печатал в «Кавказском журнале», издаваемом в Сухуме, стихи на русском языке. «Я абхазец — горец вольный...» — восклицал он в стихах «Абхазец». «Где б я ни был, край родной — для меня кумир святой». Он же являлся автором пьесы «Махаджир». В газете «Апсны» Гулиа писал: «Один приезжий рассказывал мне в прошлом году, что... в Ростове поставлена пьеса «Махаджир» П. Маана... Ростовские зрители были поражены постановкой, оформлением и красотой сочетания слов и фраз... Когда окончилось представление, все потребовали автора Маана, который создал такое прекрасное произведение... П. Маан очень удачно слагает стихи на русском языке. Несчастьем является то, что он не пишет по-абхазски». Гулиа был одержим мечтой об абхазской литературе. И он прекрасно понимал, что нельзя ее создавать на грузинском или еще на каком-нибудь языке. Абхазскую литературу можно создавать только и только на абхазском, точно так же как русскую — на русском, армянскую — на армянском и так далее. Некоторая неясность в этом абсолютно ясном вопросе вдруг возникла в выступлениях отдельных печатных литературных органов в наше время. Владимир Солоухин был вынужден ответить на это статьей, в которой, в частности, пишет: «Украинец Гоголь писал по-русски и стал таким образом великим русским писателем. Не может быть русской литературы на французском языке, узбекской литературы на литовском, равно как и дагестанской на русском». Я не верю пифагорейцам, но, когда речь заходит о литературе, подчас кажется, что многое странным образом повторяется.

Самсон Чанба пытался писать по-русски, хотя он знал абхазский язык несравненно лучше.

— Самсон, — сказал ему однажды Гулиа, — я читал твою пьесу на русском языке. Мне кажется, что язык ее безлик. Не лучше ли писать на том языке, который знаешь лучше?

Чанба внял совету. По этому поводу Гулиа счел необходимым вставить в одну из своих заметок следующие строки о пьесе Чанба (1922 г.): «Если он ее, так же как и «Махаджиры», напишет по-абхазски, то будет очень хорошо».

1918 год стал для абхазской прозы славным годом — отсюда идут ростки этого весьма показательного для роста литературы жанра. В том году Гулиа написал рассказ «Под чужим небом». Очень немного отыщется в мировой литературе произведений, читая которые люди рыдали бы. А вот

«Под чужим небом» ни один абхазец не может взять в руки без волнения. Помню, как в школе вслух читали его: чтецы — менялись каждые пять минут, ибо перехватывало дыхание...

Фабула рассказа столь же несложна, сколь и жизненна... Жили два брата — Мурытхва и Шарытхва. Елкан был сыном первого и племянником второго. Этот джигит разъезжал по ночам на коне и верно служил князю Елдызу. И во имя чего? Из-за одной лишь похвалы: «Молодец!» Молодой человек был не в меру тщеславен, бьющая через край энергия искала себе применения. И князь Елдыз по-своему направлял ее...

Однажды князя арестовали по обвинению в краже коня. Как должен в таких случаях вести себя преданный оруженосец? Брать на себя вину. А князь выручит...

Но не тут-то было: князь не выручил, и Елкан оказался в Сибири. Он там страдает. Он мечтает об Абхазии и, не выдержав сурового климата, погибает...

А Елкан снится своим родителям. Проснувшись, они все утро ведут разговор о нем, только о нем. Здесь перед читателем раскрывается психология наивных и добрых, как дети, людей. Весь аромат рассказа заключен именно в этой наивности, не поддающейся переводу, ибо она пронизывает каждую фразу, каждое слово. Эта вещь настолько национальна по языку, что теряет в переводе почти все. Это все равно, что взять золотую рыбку и посадить в клетку вместо соловья: песни не будет!

На этом примере еще и еще раз убеждаюсь в том, сколь сильна литература, написанная для народа на понятном и близком ему языке. Переводы рассказа имеются. Они печатались. Но они почти не трогают. В 1930 году я попытался перевести рассказ: получилась повесть «На скате», которая связана с рассказом «Под чужим небом» только сюжетом и, пожалуй, еще дальше от оригинала, чем другие, «сухие» переводы.

Абхазская литература явно не стояла на месте. Но и жизнь двигалась вперед гигантскими шагами. Абхазия оказалась отрезанной от России. В Абхазии и Грузии господствовали меньшевики. Надвигался хаос. Но более всего пугал призрак голода. Гулиа пишет: «В 1918 году мне довелось побывать на Кубани, где пылала гражданская война. В качестве одного из представителей абхазского народа я просил хлеба для населения. В Абхазию было отгружено несколько вагонов, но сам я не скоро выбрался оттуда...»

Об этой своей поездке и злключениях на Северном Кавказе отец рассказывал часто.

Итак, несколько вагонов хлеба было отгружено из Екатеринодара. Но

когда Гулиа со своими друзьями собрался в обратный путь, в городе, который несколько раз переходил из рук в руки, закрепились белые. В окрестностях города шли бои. Город был на осадном положении: всюду офицеры, солдаты, казаки.

В ожидании лучшего часа Гулиа жил в гостинице, где случайно познакомился с людьми, тоже попавшими в беду. Один из них представился Прохоровым, другой — Чениджиевым. Это были общительные и веселые люди, лет по тридцать пять — сорок. Встречаясь за утренним чаем, Прохоров, словно невзначай, показывал газету.

— Господин Гулиа, — говорил он, — не волнуйтесь: скоро разобьют красных, и вы уедете.

— Где это сказано? — спрашивал Гулиа.

— В газете.

Всегда презиравший ложь, Гулиа не выдерживал:

— Сплошное вранье! Вы слышали ночью пальбу? Могу вам сказать: она значительно ближе, чем позавчера.

Чениджиев, улыбаясь, включался в беседу:

— Господин Гулиа, вы слишком горячитесь: белые обещают скорую победу.

— И слышать не желаю эту чепуху!

Потом Прохоров и Чениджиев куда-от исчезали. А наутро история повторялась.

— Господин Гулиа, а ведь им конец.

— Кому это, господин Прохоров?

— Большевикам!

— Это написано в газете?

— Да, в газете.

— Напрасно вы утруждаете себя чтением. Я перестал забивать себе голову этой чушью. — Гулиа перегнулся через столик и прошептал: — Не будьте детьми: они на днях будут здесь, и мы разъедемся по своим домам.

— Кто это они, господин Гулиа?

— Большевики, или красные. Как угодно, так и называйте.

Прохоров и Чениджиев многозначительно переглядываются.

— Они настоящие звери, — говорит Чениджиев.

— Белые? — спрашивает Гулиа.

— Тише, господин Гулиа! Вот вы учитель, а простых вещей не понимаете. В газетах ясно написано: большевики режут детей.

Гулиа смеется.

— Рассказывайте сказки! Каннибалы никогда не одолели бы этих

офицеров, которыми кишмя кишит Екатеринодар.

— Вы слишком откровенны, господин Гулиа.

— С вами, с вами, господа! Надеюсь, вы не выдадите... Я не политик, господа, я просто уважаю честных людей. Но если мне нагло врут, я не желаю читать такие газеты, не желаю слушать лжецов... Угодно выслушать предсказание?

— С удовольствием.

— Завтра ждите их.

— Большевиков?

— Именно. Хотите спорить?

Когда поспорили на бутылку шампанского, Прохоров спросил:

— А откуда у вас, Дмитрий Иосифович, такие сведения?

Гулиа говорит:

— Вы, верно, ночью спите. А вы прислушайтесь к стрельбе, и сами скажете, что завтра все кончится. Эти сбегут.

— Ну что ж, мы поспорили, — говорит Прохоров.

И они расходятся, чтобы наутро встретиться вновь. Гулиа определенно надеется выиграть пари — стрельба идет уже где-то на окраинах города.

Наутро Гулиа не нашел белых. Офицеров словно ветром сдуло. Он поспешил в ресторан, чтобы сообщить об этом Прохорову и Чёниджиеву. Каково же было его удивление, когда обнаружилось, что веселые люди куда-то запропастились! Это было огорчительно, но что поделаешь...

Большевики обещали быстро восстановить жизнь в городе и наладить транспорт. И они сдержали свое слово. Дней через десять Гулиа смог выехать на небольшом поезде, составленном из пяти теплушек, в направлении Новороссийска. Однако на третьем или четвертом перегоне поезд остановили. Проверяли документы. Многие были задержаны, в том числе и Гулиа, чья учительская кокарда, не внушила доверия красным.

Ночь Гулиа провел в какой-то халупе. Проснулся от холода и криков. Посмотрел в щелку: — во дворе толпа людей. Страж, вооруженный винтовкой, увещевал:

— Товарищи, разойдитесь. Командир все выяснит. Надо — шлепнем, а не виноват — отпустим.

Через час, когда толпа поутихомирилась, Гулиа усадили на телегу и перевезли в ближайшую станицу. Там его втолкнули в какое-то тесное помещение, где уже сидело по меньшей мере до полусотни.

— Кто вы, господа? — спросил Гулиа.

— А вы? — ответил вопросом какой-то человек в шинели.

— Я учитель из Абхазии. А вы кто?

— Мы белые, — сказал военный.

— Все?

— Да, все.

Гулиа забарабанил в дверь.

— Чего вам?

— Тут ошибка получилась, господин...

— Я вам не господин, — грубо ответили из-за двери.

— Бог с вами, господин товарищ! Недоразумение!.. Прошу меня выслушать!

— На допросе скажешь, — ответил голос.

— Господа, — обратился Гулиа к заключенным, — почему вы так присмирели? Неужели все вы белые?

— Почти все, — усмехнулся офицер.

Вечером начались расстрелы тех, кто расстреливал вчера. К утру камера стала просторней.

Гулиа потребовал кого-нибудь из начальства. Явились какие-то моряки.

— Что вам?

— Я хочу начальника!

— Допустим, я начальник, — сказал огромного роста детина. И вдруг ахнул: — Ребята, а ну-ка, сюда! Кто это?

Ребята столпились возле двери.

— Енерал Кауфман, — сказал один из моряков.

— Он, убей меня бог!

С этой минуты Гулиа стал генералом Кауфманом, направленным сюда для того, чтобы взорвать туннель. Гулиа клялся, совал документы — напрасно: все в один голос твердили, что это тот самый «енерал Кауфман, который под Ригой воевал». И как важный преступник Гулиа был препровожден в город Темрюк, что на берегу Азовского моря.

К счастью, тюремный начальник оказался человечным. Он выслушивал Гулиа раза по три на день, поскольку тот требовал этого, и каждый раз разводил руками:

— Сделать, к сожалению, ничего не могу: вы числитесь под фамилией Кауфман.

Дни тянулись за днями, а «генерал Кауфман» пребывал под стражей. Спасибо начальнику: очевидно заподозрив что-то неладное и сделав соответствующие запросы, он терпеливо ждал; а тем временем каждый вечер вызывал к себе Гулиа и пил с ним чай. Расставаясь, неизменно спрашивал:

— А кто бы мог подтвердить вашу личность? Из наших, из большевиков, никого не знаете?

— Нет, господин товарищ, ведать не ведаю.

— Очень жаль.

Неизвестно, долго ли продолжалось бы все это, если бы один из новых арестантов не обронил такую фразу:

— Да, господа, наши в Екатеринодаре зевали, а Прохоров, Чениджи́ев и прочая большевистская сволочь делали свое дело...

И умолк.

Гу́лия тотчас поднялся со своего соломенного ложа и спросил:

— Как вы сказали, господин?

— Я говорю Прохоров, Чениджи́ев и другие...

Гу́лия нетерпеливо перебил:

— А кто такие Прохоров и Чениджи́ев?

— Как кто? Большевистские главари. Один из них, Прохоров, в Новороссийском ревтрибунале, а этот, Чениджи́ев, командует...

— Всё! — кричит Гу́лия и принимается барабанить в дверь.

Час ночи. Охранник глухо спрашивает, что случилось.

— Прошу начальника тюрьмы, господин товарищ. Важное дело. Скажите, Гу́лия просит.

Вскоре явился заспанный начальник.

— В чем дело?

— Я знаю, кто поручится за меня! — скороговоркой выпаливает Гу́лия.
— Из ваших, из большевиков!

— Интересно. Кто же?

— Прохоров! Чениджи́ев!

— Прохоров? — Начальник крайне удивлен. — Вы говорите, Прохоров?

— Да, он. Спросите, кто такой Гу́лия Дмитрий Иосифович, опишите меня — он все вам скажет.

— Любопытно, — говорит начальник. — Ну что ж, я еду на станцию.

Прямой провод находился где-то верст за десять. Начальник морозной ночью поехал на лошади, чтобы переговорить с Прохоровым.

Что же дальше?

Под утро Гу́лия вызывают с вещами (пальто да узелок с бельем). Начальник тюрьмы бледный, усталый. Но улыбается. Говорит:

— Ну и сквернослов же ваш Прохоров! Он пробрал меня и велел под усиленной охраной доставить вас в Новороссийск. Чтобы, говорит, ни один волосок с него не упал.

В тот же день на начальнической телеге Гулиа выехал в Новороссийск, вернее в сторону Новороссийска...

Документы у него были, что называется, соответствующие. Но ежели бы он попался белым или зеленым (что одно и то же), его бы мгновенно расстреляли без суда и следствия. К счастью, этого не случилось, и несколько дней спустя он уже сидел в ревтрибунале, в кабинете Прохорова.

— Я вас, Дмитрий Иосифович, не выпущу! — грозился Прохоров. — Никакого Сухума! Там меньшевики. Они придерутся к вам, скажут, с большевиками якшались... Сообщения нет. На катеришке отправить боюсь — затонете где-нибудь.

— Это верно, конечно. Но там моя семья.

Прохоров подумал и кивнул.

— Ладно, езжайте. Только дайте три дня сроку. Что-нибудь подыщем, какую-нибудь морскую галошу.

Отец вспоминал о трех днях:

— Это были приятные дни. Особенно после всего пережитого. Прохоров приносил свой паек, мы пили и ели. Потом простились с ним, как братья, и я никогда больше не видел его и не слышал о нем. Не знаю, что и с Чениджиевым. И с начальником темрюкской тюрьмы. Могу сказать одно: без них я бы наверняка пропал.

Ранним утром кто-то постучался к нам. Первой вскочила мать. Но дверь открыть так и не смогла: узнав голос отца, грохнулась на пол. Из старших была еще бабушка: она пыталась привести в чувство Елену Андреевну, призывая на помощь нашу родственницу Ефросинью (сирота, проживавшая у нас).

Я задал себе вопрос: вставать или нет? Любопытство, однако, взяло верх, и я побежал в коридор. Вот что я там увидел: в маленькое четырехугольное окошко глядит усатый человек. Он просит поскорее открыть дверь, а у порога лежит мать, и возле нее хлопчет бабушка со стаканом воды. Убедившись, что меры принимаются самые неотложные, я преспокойно улегся в постель и стал ждать дальнейших событий.

А за месяц до этого каким-то чудом до нас дошло письмо с Северного Кавказа. Отец в нем, можно сказать, прощался с нами, просил Елену Андреевну: «Леля, будь умна... воспитай детей, как можешь, как это бог на твою душу положит... Ты обо мне говори им часто». Видимо, какая-то необыкновенная сила инерции была жива в почтовом ведомстве: письмо прошибло все фронты, все преграды и рогатки и нашло адресата. Но тем больше горя и слез доставило оно мам...

Теперь все было позади: папа с нами! Я и брат мой Володя лежали с широко открытыми глазами и затаив дыхание ждали его.

Бывшая Российская империя неумоимо клекотала. Революционный народ ширил великие завоевания Октября. Однако враги все еще не теряли надежды. Разгоралось пламя жесточайшей гражданской войны, когда само понятие «жалость» превратилось в горсть пепла. Россия, казалось, ввергнута в трясину хаоса, из которой ей никогда не выбраться. Иные литераторы предавались унынию, не в силах уяснить, что же такое происходит. Иные готовились к «махаджирству» на Запад, в европейскую цивилизацию. И только самые проницательные видели в революции свершение всех чаяний народа. И быть может, вернее многих, но по-своему, по-блоковски сложно понял и принял революцию автор «Двенадцати». Я бы, пожалуй, не смог назвать во всей современной поэзии, в поэзии двадцатого века, что-либо более совершенное по содержанию и по форме (как затруднился бы назвать в современной прозе что-либо более потрясающее, нежели повесть Экзюпери «Ночной полет»).

Голод и разруха грозились подмять все живое. Здесь, в Абхазии, словно в капле воды, отражалось почти все, что происходило в бывшей империи. И здесь голод, хотя и не такой страшный, как в Поволжье, уже маячил у порога почти каждого дома.

Абхазское крестьянство революционизировалось. Немногочисленные, но крепкие своей спайкой рабочие чутко откликнулись на события в России. Меншевицкому правительству все сложнее становилось сдерживать народное возмущение. В Тифлисе хозяйничала клика Ноя Жордания, заигрывавшая с немцами. Рабочие и крестьяне Грузии вели борьбу против меньшевиков. Большевицское подполье непрерывно крепло. В этих условиях правительству, лишенному доверия, оставалось одно: усиливать репрессии и таким путем попытаться продлить свое существование.

В Абхазии регулярно проводились карательные экспедиции. Горели села, тюрьмы были переполнены. А лидеры абхазских большевиков — Эшба, Лакоба и Акиртаа — действовали то на Северном Кавказе, то в самой Абхазии. Меньшевики невольно расписались в своей бессилии предпринять против них что-либо. В так называемом Абхазском народном собрании, казалось бы специально подобранном меньшевиками, тоже было неспокойно: некоторые депутаты «подвели» — оказались большевиками. Например, поэт и драматург Самсон Чанба...

Однажды младший брат Елены Андреевны — реалист Иосиф

примчался во двор и впопыхах вручил своей матери Фотине Николаевне пару солдатских сапог.

— Вот, погляди-ка! — сказал он радостно.

— Откуда они?

Вопрос был вполне естественный, и восемнадцатилетний Иосиф пояснил:

— Меня забирают в армию. Еду воевать против турок. Нам выдали сапоги. Их можно продать, а я получу еще.

Каково же было его огорчение, когда обнаружилось, что сапоги на одну ногу! Что делать? Не бежать же обратно к каптенармусу. Так ради пары сапог этот молодой человек несколько месяцев провоевал где-то в Сурамских горах, неподалеку от турецкой границы. Эти сапоги на одну ногу и эти несколько месяцев оказались для него роковыми. Не раз приводили они его в тюрьму на крутых поворотах событий и окончательно свели в могилу в трагическом тридцать седьмом...

Появляться на улицах после наступления темноты было небезопасно. Пули так и свистели. Даже днем затевались непонятные перестрелки. Мы обычно устраивались под каменной лестницей и сидели там, пока не получали соответствующей команды от Елены Андреевны. Если отец отсутствовал, мать убивалась и рвалась к нему на работу, чтобы удостовериться, что он жив. В небе летали удивительные бипланы «блерио». Наблюдать за их полетами было сплошным удовольствием для меня и брата. Сухумские реалисты маршировали по улицам и пели: «Кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль». Иногда их водили стрелять из пушек. Однако воинственность была напускная, мальчишеская. Мало кто принимал тогда всерьез эту меньшевистскую армию. Однажды самолет — биплан — пролетел очень низко над нашей улицей. Мы видели, как летчик махал рукой. С земли отвечали дочери известного владельца табачных складов, жившего напротив нас. Мы уже знали: это их кавалеры там, в воздухе.

Гулиа по-прежнему преподавал все в тех же учебных заведениях. По-прежнему проверял тетради, а после писал историю Абхазии. В учительской семинарии был организован литературный кружок. Многие члены его писали стихи. Гулиа внимательно приглядывался к каждому из молодых поэтов. Готовились к выпуску рукописного литературного журнала. Поэт возлагал на это начинание большие надежды. И не ошибся: журнал превзошел все ожидания. В 1920 году Гулиа писал: «Оглядываюсь вокруг — и вижу, что окончившие Сухумскую семинарию и реальное училище с душою работают в нашей газете. Даст бог, абхазский язык

теперь уж не пропадет, к этому я и стремился. Труды мои не пропали даром».

Жить становилось все труднее. Наша семья пообносилась. И не только наша, разумеется. Елене Андреевне стоило невероятных трудов прикрывать латаной одеждой наши бранные тела. Были пущены в ход остатки приданого, которые могли соблазнить ростовщиков: серебряная сахарница, золотая цепь от часов, кольца, массивный мамин браслет. Дошла очередь и до уникальных географических карт размерами с комнатную стену. Однако кому нужны были карты? Только после долгих поисков нашелся географ-любитель из села Найдорф (под Сухумом). За десяток карт он давал нам по кружке молока в течение двух месяцев.

Я наблюдал, как из гостиницы «Сан-Ремо» (нынешняя «Рица») матросы выводили Ефрема Эшба. Меншевики пытались арестовать его. Но подросли революционные моряки и вызволили своего боевого товарища. Матросы окружали Эшба двойным рядом шпалер. На нем была белая абхазская рубашка с шелковыми застежками и папаха. Представляю себе, как свободно вздохнул он, ступив на борт корабля, который, если не ошибаюсь, назывался «Дакия».

Вскоре произошел такой случай: абхазский князь Эмхаа застрелил матроса. Князь пытался скрыться, но был схвачен крестьянами и передан морякам. На корабле он застрелил еще одного матроса.

— И его бросили в топку, — говорили богатые горожане.

Этот случай описан в рассказе грузинского писателя Лео Киачели под названием «Крейсер «Шмидт».

Словом, разгоралась борьба не на жизнь, а на смерть. Меншевистские войска двигались в сторону Сочи. На рейде частенько появлялись английские и итальянские корабли, недвусмысленно поддерживавшие меньшевиков.

В девятнадцатом году произошло знаменательное для абхазской культуры событие: родилась первая абхазская газета, названная «Апсны», то есть «Абхазия». Хухут Бгажба пишет: «Д. Гулиа организует выпуск первой абхазской газеты — «Апсны»...»

Отец принес домой свежий номер газеты, отпечатанный на оберточной бумаге. Расцеловал нас, поздравил, словно в праздник, и дал каждому из нас подержать его в руках.

— Ну, берегитесь! — погрозил он кому-то кулаком. — Теперь есть у нас даже своя газета.

Мать раздобыла где-то бутылку вина, и за обедом ее распили. Отец все

читал и перечитывал газету. Ему словно не верилось, что в руках у него и в самом деле абхазская газета.

Гулиа так характеризовал «Апсны»: «Газета эта, можно сказать, была по преимуществу литературной, где помещали молодые поэты свои произведения: стихи, рассказы, пьесы и др. Такой характер ей был придан для того, чтобы она не сделалась орудием меньшевиков... Если в газете попадались статьи политического характера, то эти статьи отражали идеи большевиков».

И как могло быть иначе? Что принесли меньшевики Абхазии? Социальную справедливость? Нет, ведь по-прежнему бесчинствовали князья, дворяне и торговцы. Может быть, сытую жизнь? Напротив, люди голодали и бедствовали, как никогда. Может быть, они способствовали развитию национальной культуры? Совсем напротив: они оскверняли ее как могли. В горской школе, которая для Гулиа и многочисленных его сверстников казалась святыней, стоял эскадрон, и классы были превращены в конюшни. Об этом с негодованием писал Дмитрий Гулиа. Меньшевики наносили удар за ударом по всем мыслимым направлениям и отвращали от себя последних заблудших овечек, если такие еще имелись. «Отчего накинула облачную шаль? Что ты плачешь, родина, и о чем печаль?» — горестно вопрошал Гулиа.

*Сыхаара сыпсадгил,
Йкалазей, закузей?..*

.....

*Сылашара сыпсадгил,
Абае улахь зейкузей?*

Так звучат эти слова по-абхазски.

А в другом месте поэт восклицал: «Молюсь я богу за тебя. Услышит ли он сердца крик?»

Гулиа писал в газете «Апсны»: «Если хотим идти вперед и добиться свободы, прежде всего должны поставить школьное дело... А ну, пусть кто-нибудь скажет, что необразованная нация имеет свободу и самостоятельность! Никогда!..»

Так что же случилось с абхазскими школами? Дмитрий Гулиа в одном из номеров «Апсны» перечислил беды: в одной сельской школе нет «потолка, рамы без стекол, нет дров, нет сторожа»; в другой — «со всех сторон дуют сквозняки»; в третьей — «детей обучают в частном доме, мебели нет

никакой, некоторые дети усаживаются на днища деревянных тазов»; в четвертой — «на абхазском, грузинском и русском» занимаются в одно и то же время разом; в пятой — «пока нет учебы» и так далее. Обрушивался Гулиа и на нерадивых учителей. Ему не раз приходилось доказывать такую, например, истину: «...учитель должен находиться в школе, и обучать детей, и устраивать школьные дела...»

Не жалеет Гулиа «огня» и против тех, кто лишен патриотического чувства, кому вино дороже родного языка. Он исхлестывает в стихах, статьях и заметках болтунов и неучей, которым, дескать, тесны рамки абхазского языка. В одном из сатирических стихотворений, написанных в 1919 году, Гулиа обличает безродного шалопая, который «за деньги — хоть пахать будет», который «абхазец... и здесь воспитан, но слов абхазских... не знает — так уж горд!» Гулиа всеми силами пытается привить любовь к родному языку. Он настойчиво доказывает, что абхазский язык не беднее других. Он требует, чтобы родители обучали детей в школе, чтобы ребенка не обделяли грамотой. Он призывает набираться знаний, ничего не жалеть ради этого великого дела. Гулиа писал: «Мы, абхазцы, имеем много недостатков, но главный заключается в следующем: мало у нас терпения, мало работаем упорно, с душой». Призывая больше и чаще писать в свою газету, он восклицает: «...если вы так быстро устали, если вы больше ничего не скажете, больше не напишете, — кто же тогда напишет, кто скажет?!»

В заметке «Образование и ремесло» Гулиа рекомендовал, учась грамоте, непременно овладевать каким-нибудь ремеслом. Стараясь быть лучше понятым, он ссылается даже на евангелие. Он пишет: «...все знали ремесла... И Христос знал... Апостол Лука, писавший евангелие, знал малярное дело». Человек без грамоты и ремесла, увещевал Гулиа, растет «для воровства, для разбоя».

Итак, война неграмотности, война безделью! «Дело полезное творите для нашей страны, не откладывайте, будьте готовы всегда!» («Вперед»). Трудно выбрать более честную и ясную программу действий. В каждой строке, написанной в ту пору рукою Гулиа, звучит этот призыв, этот неустанный зов народного пророка, указующего единственно верный путь. Гулиа сотни раз повторяет это, как бы опасаясь, что его не услышат. Время было трудное, перспектива открывалась только для самых дальновидных. Вместе с Омаром Хайямом в пору было спросить: «Что там, за хрупкой занавеской тьмы?» Требовалось огромное гражданское мужество, чтобы идти вперед, к намеченной цели. Прав был Николай Стрелецкий, когда много лет спустя писал: «Сквозь большую муку и тоску ты сюда пронес

свой смелый почерк, песенночеканную строку».

Вот именно, сквозь муку и тоску!

Теперь с появлением газеты день Дмитрия Гулиа складывался так: с утра до сумерек — занятия все в тех же трех учебных заведениях; с сумерек до позднего вечера — проверка ученических работ; затем подготовка материалов для газеты или корректура и только после этого — история Абхазии или стихи. Он часами не подымался со стула, ничего и никого не слышал: знай себе работал. И так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем...

В том же 1919 году у Гулиа родилась девочка, которую называли Таней. Отец и мать были очень довольны: считалось, что девочка нежнее и глубже любит родителей и, во всяком случае, несравненно больше, чем драчуны вроде меня и брата.

Тариэль Аршба дотошно исследовал газету «Апсны». Он пишет: «Апсны» начала издаваться с 27 февраля 1919 года. Газета была среднего формата, четырехполосной, выходила вначале один раз в две недели, затем — еженедельно. Называлась она демократической, но по содержанию являлась общественно-политической и культурно-просветительной газетой... С помощью специальных агентов «Апсны» широко распространялась в абхазских селах...» «Пропаганда революционных идей велась зачастую открыто... Газета много раз находилась на грани закрытия».

В первом номере в редакционной статье Дмитрий Гулиа дал волю своим чувствам. Мы читаем: «Сегодняшний день для нас, абхазцев, является большим праздником. Сегодня вышел первый номер абхазской газеты, которая до этого времени была несбыточной мечтой... У абхазцев есть поговорка: день увеличился на «прыжок оленя». Начало издания газеты есть для нас «прыжок оленя» в развитии нашего языка и литературы».

Так оценивал поэт скромную на вид газету. Я думаю, что в его словах нет преувеличения. Каждый пишущий и читающий — а таких большинство — понимает значение выхода первой газеты.

— Слушай, это же замечательно! — говорил отец Елене Андреевне. — Мы имеем возможность разговаривать с читателем. Вот прилетит газетка вестницей в горные села. Как ты полагаешь, что скажут абхазцы? Верно, о, ни обрадуются. Но этого мало! Получат газету, напишут в редакцию. Мы ответим им, они снова обратятся к нам. Это и есть начало настоящей культуры!

— А деньги на издание имеются? — спросила практичная жена.

Отец задумался.

— На первое время их достанет, а там видно будет... В конце концов и мы немного приплатим.

— Да, конечно, — подхватила Елена Андреевна, которая только нынче утром заняла денег у грека-соседа, чтобы кое-что раздобыть на рынке.

— Газета есть, — говорил отец, — это главное... Ну-к? дети, садитесь и читайте вслух, а я послушаю.

Я говорил мельком, что газета «Апсны» печаталась типографии Зайдшера. Хозяина звали Адольфом Моисеевичем. Помещалась типография в двух шагах от набережной, в Рыбном переулке. Половину ее занимали старая плоскопечатная машина, американка для акцидентных работ и наборные кассы. При входе слева стоял столик для редактора, корректора, выпускающего (в лице Гулиа) и всех авторов, желавших читать свои гранки. Позади этого помещения находились две жилые комнаты (вернее было бы назвать их каморками). В них проживал сам Зайдшер с семьей: женой Евгенией Элюковной и пятью детьми.

Газету набирали Елизавета и Тамара Харбедиа, Еуген Чачхалиа, Мыстаабей Миканба. Адольф Моисеевич стоял у печатной машины. Через его руки проходил каждый экземпляр газеты. Это был человек живой, даже чуточку суетливый и очень обязательный. Он под сурдинку печатал и прокламации большевиков. Наборщик Миканба был связан с революционным подпольем и рассказывал, что Адольф Моисеевич с удовольствием брался за «наказуемое законом дело», то есть печатание революционных прокламаций. Само собой разумеется, ни о каком вознаграждении и разговора не было.

В дни выпуска газеты отец с утра уходил в типографию. К обеду я и брат навещали его. Пока газета печаталась, мы играли на тротуаре, а потом приносили домой кипы газет и здесь всей семьей отсчитывали экземпляры, которые следовало послать в тот или другой уезд.

«С середины 1919 года, — вспоминает Миканба, — «Апсны» оказалась в затруднительном финансовом положении... Нечем было платить наборщикам... Гулиа беспокоился о нас, наборщиках, о себе мало думал...»

Бывали случаи, когда агенты-распространители неаккуратно присылали деньги. Против них Гулиа принимал самые разнообразные меры воздействия: писал им письма, а иногда фамилии самых злостных неплательщиков помещал в траурную рамку. И это помогало.

— Больше так продолжаться не может, — сказал отец однажды.

Мы питались чуреком из кукурузной муки, смешанной с грубыми отрубями. Жмыхи из семян подсолнуха (или, как их на юге называют, макуха) были деликатесом. Бабушка усиленно потчевала пас чесноком, утверждая, что чеснок хорошее средство против заразных заболеваний. Отец, видимо после долгой внутренней борьбы, решил обратиться за помощью к своим односельчанам из Адзюбжи. Спустя несколько дней к нам во двор въехала скрипучая арба: адзюбжинцы прислали муки, сыру, копченого мяса и даже бочку вина. Мы и наши ближайшие соседи, можно сказать, зажили припеваючи («Кусок не полезет в горло, если не поделюсь с ними», — говорила Елена Андреевна).

Отец повеселел и с удвоенной энергией взялся за газету и историю. В это время он писал сравнительно мало стихов, а что сочинял — печатал в «Апсны». Стихи были о родине, народе.

Наш дом в то время, да и в первые годы советской власти был, по существу, небольшим «Домом крестьянина». К отцу непрерывно приезжали гости из различных уездов Абхазии: одни — посоветоваться о школе, другие — полечить зубы, третьи — чтобы избавиться от неизвестного недуга, четвертые — пожаловаться начальству на самоуправство местных властей. Бывали ночи, когда у нас гостило человек десять, и не проходило, пожалуй, дня без гостей. Было в Сухуме еще два-три дома, принадлежащих абхазским интеллигентам, где дело обстояло примерно-так же.

Выслушав жалобы гостя-и присоветовав, что делать, отец за чаем брал книги и читал вслух свои стихи. Удивленный гость обычно спрашивал, где бы раздобыть ему точно такую книжку. Гулиа тотчас же доставал из кладовки книги и вручал гостю: «Это тебе и твоим детям, а эти — твоим соседям и их детям».

Но одними стихами, что называется, сыт не будешь. А вот знают ли крестьяне новейшие научные взгляды на то, как выбрать хорошую молочную корову, как выбрать отличную рабочую лошадь? А что известно им о летосчислении? Имеют ли они понятие о календаре? Нет, ничего этого не знали крестьяне. И тогда отец снова шел в кладовую или посылал туда кого-либо из домашних. И гостю торжественно вручалась книжка, например, «Как выбрать здоровую рабочую лошадь», переведенная с русского. Если интересы гостя больше к молоку тяготели, то он уносил с собой брошюру «Как выбрать здоровую молочную корову». Отец в 1920 году перевел с грузинского «Лечебник». «Читай и лечись сам», — говорил

он шутя, вручая гостю брошюру. Была еще и такая: «Болезни домашних птиц» (в списке научных трудов и научно-популярных брошюр Гулиа более тридцати названий).

Приступая к изданию «Абхазского календаря», Гулиа писал в «Апсны»: «К печати готов первый абхазский календарь, и выйдет он в течение этой недели. Этот календарь, как и другие календари, показывает дни обычные и дни праздничнее. Кроме того, в календаре даны советы о том, как определять, будет ли день погожий или наступит непогода. Будут изложены: краткая история возникновения календарей, география Абхазии, краткая история абхазского народа, советы о том, как следить за скотом, советы будущей матери, советы о школьной гигиене и карантине больных учащихся, история возникновения газеты и многое в этом роде...»

Об этой своей разносторонней деятельности Гулиа впоследствии писал: «Я распылял энергию, занимаясь то поэзией, то наукой. Может, было бы лучше, если бы я целиком посвятил себя только литературе? Может быть. Когда человек что-либо начинает первым, он неизбежно растрчивает больше энергии, и его деятельность неизбежно приобретает разносторонний характер. Это и хорошо и плохо».

В 1920 году Михаил Чалмаз (безвинно расстрелян бериевцами в 1937 году) опубликовал заметку, озаглавленную «Когда же мы поймем его, когда поддержим его?!». Он писал: «...У нас, у абхазцев, появился человек, который сумеет сохранить нашу историю. Бог, создавший нас, мог бы, конечно, обратить на нас внимание с высоты небес и дать нам еще несколько таких. Поскольку ему не угодно это — пусть боже не лишает нас этого единственного, которого имеем! Этот единственный — Д. И. Гулиа... Что ему делать, за что браться? Учить ли наших детей грамоте, писать ли статьи и стихи, или историю Абхазии?...То, что успевает он делать, — не может не удивлять... Только когда же мы оценим его, когда же поддержим его?!»

В жизни простого человека наступали, по-видимому, переломные дни. Меншевикам не удалось решить ни одной экономической проблемы, не говоря уже о социальных и национальных. Все это подтачивало меньшевистский режим в Абхазии. В Гудаутском уезде действовал хорошо сплоченный революционный отряд крестьян «Киараз». Да и в остальных уездах крестьянство все смелее выступало на стороне большевиков, развивавших энергичную деятельность. Листовки и различные подпольные издания обнажали буржуазный характер меньшевистского «демократического рая». Меншевистские лидеры рассыпались в

благодарностями перед империалистами Запада, уповая на их помощь в защите от «ужасного большевизма».

В Сухуме распускались дикие слухи о зверствах большевиков в России. Меншевистские газеты рисовали Красную Армию как банду головорезов. Только не совсем было ясно, почему эту банду никак не могли одолеть такие «великие» полководцы, как Юденич, Колчак, Деникин, Врангель. Это оставалось «тайной». Что же касается «Апсны» — она делала свое скромное дело: правдиво информировала своих читателей о положении на фронтах гражданской войны.

В то смутное время, когда тиф и холера каждому грозили буквально из-за угла, на родину приехал погостить профессор Мустафа Бутба. «Апсны» писала: «На этой неделе прибыл в Сухум давно выехавший махаджиром из Цебельды Бутба Мустафа сын Шахана. Мустафа ныне достиг средних лет, человек он образованный. По делам кавказских махаджиров он побывал в Тифлисе и на Северном Кавказе, прожив семь месяцев».

Остановился Бутба в гостинице «Ориенталь». Бывал у нас, рассказывал о жизни махаджиров в Турции. Это был цветущий человек с белыми, как вата, волосами. Говорил очень чисто, поражая своей речью местных абхазцев. Его хорошо встречали в Сухуме. Не менее яркими были проводы. «Апсны» поместила небольшой отчет о его пребывании в Абхазии и беседе, которая состоялась в Комитете по делам махаджиров: «По словам Мустафы, в Турции абхазцев около двухсот тысяч. Все говорят по-абхазски, никто своего языка не забыл». (Турецкий словарь, изданный перед второй мировой войной, называет цифры в сто семьдесят пять тысяч.) «Большинство абхазцев, — сообщила газета со слов Бутба, — носит короткое одеяние, почти все они — наездники». «Все хотят в Абхазию», — заявлял Мустафа. «Мустафа очень обрадовался, когда увидел абхазские книги. А когда ему показали абхазскую газету, он воскликнул: «Слава богу, теперь я верю, что абхазцы и Абхазия не пропадут!»

Отец подарил Бутба свои книги. Помню, как тот прижал их к груди и, вскинув вверх большие голубые глаза, произнес: «Слава богу!» — и расцеловал от-на. (Бутба в 1919 году издал «Букварь» и попытался организовать в Стамбуле абхазскую школу; она проработала полгода и была разгромлена турецкими шовинистами.)

Отец не знал, как и приветить столь чудесного гостя, и надеялся, что между абхазцами и абхазцами-махаджирами наладятся связи. Немалую радость доставило отцу сообщение о том, что в Турции много убыхов и что «язык у них тоже сохранился». (В тридцатых годах и позже — в 1954 году

— в Турцию ездил французский ученый Жорж Дюмезиль, составивший «Убыхскую грамматику», несколько ранее монографию «Убыхский язык» написал Адольф Дирр.) Через Бутба было послано письмо сухумского Центрального комитета по делам абхазцев-махаджиров черкесскому комитету в Стамбуле. В нем подчеркивалось, что «весь абхазский народ и его интеллигенция всегда думают и думали о своих братьях, находящихся в Турции».

Тревога в Сухуме нарастала. Говорили о бомбардировках с моря. К реке Псоу, что южнее Адлера, стягивались войска; с юга — меньшевистские и с севера — большевистские. В Сухум прибывали раненые, привозили убитых.

Друзья Гулия советовали отправить семью куда-нибудь в более безопасное место. Таким местом было признано село Адзюбжа. На дилижансе отец доставил нас к Смелу Чочориа. Это был очень забавный старик, в беседах казавшийся весьма беспечным, признававшим только духовное. Однако на поверку выходило иначе, и за пядь земли — буквально пядь! — он мог перегрызть глотку своему соседу. На его участке росли яблони и груши, посаженные нашим дедушкой Иосифом, и Смел этот отдаленный участок почему-то считал «не совсем своим», очевидно полагая, что мы когда-нибудь заявим свои права. Но оказалось, что никто и не помышляет об этом. Тогда он окончательно развеселился и вечерами смешил нас бог весть откуда почерпнутыми «достоверными» историями из «жизни Европы и Абхазии». Отец регулярно приезжал к нам и каждый раз привозил буханку хлеба.

После работы Смел усаживался на приступок, закуривал и неизменно задавал один и тот же вопрос:

— Леля, скоро придут эти большевики?

— Не знаю, — отвечала Елена Андреевна.

— А что в городе сказывали?

— Ходят слухи, что скоро.

— Ну, слава богу!

Однако дни шли за днями, и Смел начинал терять терпение.

— Большевики роют окопы по эту сторону Кодорского моста. Что бы это значило? Неужели будут воевать под нашим носом?

— Наверное, — говорила Елена Андреевна.

— Черта с два! — восклицал Смел. — Наши ребята им не разрешат! Мы к тишине привыкли... А все-таки, Леля, скоро большевики будут?

— Не знаю.

— Скверно, что они медлят.

Возможно, в это самое время Николай Акиртаа за рекою Псоу сочинял обращение Ревкома Абхазии к бойцам 31-й дивизии 9-й армии: «...Мы верны своим идеалам, и путь нами избран! Пусть будет смерть, но смерть с красным революционным знаменем Свободы в умирающих руках абхазца!..»

4 марта 1921 года в Сухуме установилась советская власть. Ревком Абхазии сообщал в своей радиограмме: «Волею трудящихся родилась новая Социалистическая Советская Республика — Абхазия...» Так начиналось это историческое извещение, адресованное Ленину. Его подписали Эшба, Лакоба, Акиртаа.

А накануне меньшевики взорвали мост через Кодор, и мы оказались отрезанными от Сухума. Смел сожалел, что из-за этого проклятого взрыва большевики, возможно, замешкаются. Елена Андреевна горевала: что там с Дмитрием Иосифовичем? Жив ли? А может, погребен под развалинами города? И никто не приезжал оттуда — полная неизвестность, если не считать диких и противоречивых слухов: «Город сровняли с землей», «Всех интеллигентов перебили», «Город горит», «Нет, город цел, но жители погибли».

— Где же эти большевики? — вопрошал Смел, сжимая в руках посох и грозя им неведомо кому. — Слушайте, Степан и Мелитон: если я прикажу, смогли бы вы расшвырять орудия меньшевиков?

— Отчего бы и нет! — отвечали сыновья. — Вместе с соседскими ребятами все можем.

А через день красные конные отряды переправлялись вброд через Кодор. И Смел Чочориа познакомился с одним из красных конников. Это было довольно комично, и я расскажу об этом поподробнее.

— Я знаю, это один из них, — сказал Смел. — Конь под ним кабардинской крови. И как он лихо держится в седле! А шапка? Посмотрите, какая она остроконечная! И он никак к нам в гости...

В самом деле, всадник пытался открыть ворота, не сходя с коня.

— Э, нет, — продолжал Смел, — не выйдет! Это не так-то просто. Лучший джигит и тот с трудом сладит... Ей-богу, это один из них! Они, говорят, час тому назад показались в нашем селе...

Мы с братом при виде незнакомого всадника в остроконечной шапке прекратили игру в мяч. Старик Чочориа поспешил к воротам. Однако всадник въехал во двор и, живо спрыгнув с коня, отдал честь старику.

— Здравствуй, здравствуй, — сказал хозяин приветливо. — Ты

красный?

— Красный, отец, красный, — ответил всадник.

— Так. А где родился такой молодец?

— В Орле. Город такой.

— А откуда сейчас?

— Из Сухума.

— Там тоже красные?

— Тоже, — ответил красноармеец.

Это был молодой сероглазый человек в потрепанной шинели, с шашкой на боку и с длинной пикой в руке. Старик обошел вокруг гостя, приговаривая:

— Молодец, молодец! И конь — молодец! Первый сорт!

— Отец, — сказал красноармеец, — водичкой не угостишь ли? Пить охота.

— Вода?! — ответил старик, любуясь конем. — Зачем вода? Надо вино!

И он направился к дому, чтобы принести вина, которое приготовил сам прошлой осенью.

Пока старик ходил за вином, красноармеец высмотрел высокий амбар, наполненный початками кукурузы. При помощи пики слегка раздвинул старые половицы, и кукуруза с шумом посыпалась на землю. Конь с удовольствием принялся за нее.

Старик вернулся со штофом, протянул его гостю и только теперь обратил внимание на то, что делается под амбаром. Он весь преобразился. Позеленел от гнева. Борода у него затряслась. А в следующее мгновение он выхватил штоф из рук удивленного бойца.

— Уходи! Уходи! — заорал Чочориа. — У меня есть берданка! Я буду стрелять! Уходи! Уходи!

Красноармеец смущенно пытался объяснить свой поступок, но старик и слышать ничего не хотел. Он размахивал руками и кричал:

— Уходи! Вода — нет! Вино — нет! Кукуруза — нет! Берданка — есть!

И вдруг сорвался с места и побежал за берданкой. Мы с братом юркнули под дом, куда от дождя прятались куры. Красноармеец, видимо, решил не связываться с чудаковатым стариком: сел на коня и, что называется, дал деру.

Долго бушевал старик. Грозился убить «этого мальчишку». Клялся, что подаст жалобу самому главному командиру. Порывался в сельское управление. Однако он не знал ни имени, ни фамилии человека,

бессовестно позарившегося на кукурузу.

— Эй, вылезайте! — крикнул он нам. — Вот увидите, что я с ним сделаю, ежели в глаза увижу!

Весь день ходил он хмурый. Обедать не стал. Все в нем клокотало.

А когда наступили сумерки...

Вот когда чуточку повечерело, старик начал стоном стонать, зубами скрежетал. Сидел у очага и клялся убить злодея, что амбар разворошил. Домашние пытались успокоить его, но он твердил свое:

— Я знаю сам! Я убью его!

И вдруг на пороге появляется человек в папахе. Едва прошел в дверь — плечистый такой. На нем серый тулуп, на ногах — обмотки. Тоже сероватого цвета.

— Здорово, — говорит, — отец! Гостя принимай.

Старик и сообразить-то не успел, кто это в гости вваливается, а гость уже сует ему в руки какие-то кулечки и приговаривает:

— Это водка. И это тоже. Это хлеб. Это тоже. Консервы. Мясные, отец, мясные. А это рыба. Вобла называется. Это сахар. А это чай. Это масло. А это... тоже водка.

Старик в полном недоумении.

— Кто ты? — спрашивает. — Зачем это?

Выпростав все карманы, незнакомец говорит:

— Ну, отец, и досталось же мне от комиссара за твою кукурузу! «Иди, — говорит, — мириться, а не то в трибунал». Вот, брат, дело-то какое.

Старик пристально смотрит на гостя.

— Это ты? — спрашивает.

— Я.

— А конь где?

— Там, в эскадроне.

Вдруг старик спохватывается.

— Эй, вы! — кричит он домашним. — Где вы? Готовьте чего-нибудь. Видите — гость!

Усаживает красноармейца возле себя. Хлопочет. Видно, неловко ему: из-за дурацкой кукурузы гостя со двора прогнал.

— Дай, думаю, переоденусь, — говорит красноармеец, — а то отец, чего доброго, из берданки пальнет.

И смеется.

Хозяин тоже смеется.

— Не стреляет она, — говорит Смел, — испорченная. Только хороших людей пугает. А зачем комиссару сказал?

— Иначе нельзя, — отвечает красноармеец. — Чрезвычайное происшествие. Революционная дисциплина. Понимаешь, отец?

— Нет, — отрезает Смел. — Я знаю, что я плохой человек — кунака обидел. Ей-богу! Давай так: ты кушай мою мамалыгу, а я — твой хлеб. Ты пей мое вино, а я — твою водку. Хорошо?

— За знакомство, что ли?

— За знакомство!

— Да, отец, а знакомство наше веселенькое. Сначала берданка, а потом вино. Верно?

Старик машет руками.

— Не говори так! — кричит он. — К черту берданку! Руку давай, кунак!

А мы с братом стоим на пороге и наблюдаем за тем, как целуются взрослые, малознакомые друг другу люди.

Вот мы и снова в Сухуме. Там всё на месте. Более того, улицы и площади, которые давно не убирались, прибраны руками самих горожан. Всюду красные флаги. У нас живут красноармейцы-пулеметчики. На балконе — «максимки». Солдаты делятся с нами пайками. И мы чувствуем себя не так уж плохо.

В городе развешаны портреты Маркса и Ленина. У ревкома — большое панно, изображающее всадника с красным знаменем в руке.

Здесь же портреты Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Газета «Апсны» прекратила свое существование. Стала выходить новая — «Апсны Капш», что значит; «Красная Абхазия». «Эта газета призвана помогать литературе... — писал о ней Гулиа. — Она отражает жизнь народа, знакомит и сближает нас...» Газета и сейчас выходит под тем же названием-Формат ее под стать московским газетам. Сотрудники ее — люди с высшим образованием, и делает ее нынче не один человек, а чуть ли не три дюжины. Говорят ли о чем-нибудь эти цифры? Да, разумеется. Из кустарной, маленькой, невзрачной на вид газета стала большой и красивой. Но ее, возможно, не было бы, если бы не малюсенький коллектив энтузиастов-газетчиков из «Апсны». Имел ли Гулиа основание для радости и даже некоторой гордости? Да, имел. И неспроста писал он в заметке «Плоды урожая»: «Труды мои не пропали зря».

Чуть ли не на второй день после установления советской власти в Абхазии к Дмитрию Гулиа обратились с просьбой подумать об организации абхазского театра, передвижного на первых порах. Как на это смотрит Гулиа? Хорошо смотрит: он берется за это. Нет пьес? Переведет. Сколько

нужно, столько и переведет. Кстати, кое-что уже имеется. Это небольшие водевили с русского и грузинского. Можно начать с них... И Гулиа окунается в это новое для него дело...

Очень уж любопытное существо человек. Вот он сыт и обут. У него всего вдоволь. Или напротив: не очень сыт, скажем, и не очень обут. Ему, казалось бы, многого недостает по части материальной. Однако прожить без искусства он не в состоянии. Наевшись, доисторический человек принимался выводить рельефы зверей на стенах каменной пещеры. А если был голоден — все равно рисовал зверей: вроде бы мечтал, молился, что ли, о добыче. На досуге, наверное, танцевал у костра. Подбрасывая кверху своего детеныша, наверное, пел гортанные песни. Без этого он попросту не мог быть человеком. Такова уж природа человеческого духа.

По-видимому, любой народ подготовлен к восприятию такого, казалось бы, условного искусства, каким является, скажем, театральное. Отец удивлялся тому, как принимали в деревнях первые спектакли первого передвижного театра. Крестьяне, никогда и слыхом не слыхавшие о театре, словно бы только и ждали случая, чтобы посмотреть спектакль. «Гастроли труппы в абхазских селах, — писал Гулиа, — превратились в замечательный праздник».

Я хочу, чтобы вы на минутку представили себе выступление этого театра перед зрителями.

Обычно в полдень из соседнего села приходили две или три арбы, нагруженные очень небольшим театральным реквизитом. Самое ценное — полотняный занавес, сшитый Еленой Андреевной. (Алексей Ласуриа преподнес ей свою книгу стихов с такой надписью: «Дорогая Елена Андреевна! Если Дмитрий Иосифович — отец абхазской литературы, то Вы ее мать. Сухуми. 4.VI.55 г.». Иван Тарба говорил в 1954 году на юбилее Дмитрия Гулиа в Москве: «Мне хочется также приветствовать помощницу Дмитрия Иосифовича, которая шла нога в ногу с ним, которая вместе с ним создавала абхазскую литературу, — нашу дорогую Елену Андреевну».) Арбы останавливались во дворе школы, и тут же начинались приготовления к спектаклю: перед открытым крыльцом развешивали занавес, классные комнаты превращали в артистические уборные. Партер, и ложи, и галерка — зеленая трава-мурава. И театр готов! Артисты гримируются и в любую минуту могут начать спектакль. Дело только за публикой.

Но вот публика пожаловала. Со всех хуторов спускаются крестьяне — мужчины, женщины, дети, — рассаживаются на траве. Весьма

любопытствует эта публика, которая впервые увидит представление на родном языке: что же скрывается за большим серым занавесом?

Раздается удар гонга — все, как в настоящем театре. Толпа инстинктивно замирает.

Перед занавесом появляется Гулиа. Его немногие знают в лицо, зато не раз слышали имя «Дырмит». Так вот он какой! Невысокий, с добрым прищуром глаз. Он в простой рубашке, подпоясан какой-то тесьмой. На ногах — солдатские ботинки. Он поднимает руку и произносит краткую речь:

— Мы прибыли из такого-то села, где показали несколько наших спектаклей. Вон там, позади вас, стоят люди, приехавшие оттуда. Сказать по правде, нам очень нравятся гастроли. Мы словно хозяйка, которая сварила мамалыгу и довольна стряпней. («Зал» хохочет.) Остается только выяснить, в хорошем ли настроении хозяева, подобно вам принимавшие нас вчера. (Смех.) Вот вы смеетесь, а может, вам будет не по душе то, что мы покажем. И не прогоните ли нас с этого крыльца? (Возгласы: «Нет!») Вы, стало быть, заранее хотите казаться добрыми. А я бы на вашем месте поступил так: нравится — похлопал бы в ладоши, не нравится — кричал бы «Вон!». Хлопать в ладоши — значит аплодировать, выражать восторг, а кричать «Вон!» — значит... Впрочем, сами знаете, что это значит. (Смех.) Больше ничего не скажу. И прошу вас: будьте судьями строгими. Снисхождение нас оскорбит.

Он уходит, и вослед несутся аплодисменты. Рождается театральная традиция. Отлично!

Затем поднимается занавес и — о боже! Что же это такое? Девушка — живая, мужчина — живой! Они складно объясняются на чистейшем абхазском языке... «Зал» замирает — боязно упустить хотя бы одно слово. — Здесь, на крыльце, все как в жизни...

А Гулиа со стороны наблюдает за зрителями и решает про себя: можно ли твердо надеяться на них, пойдет ли дальше абхазское театральное искусство?.. Ведь все зависит от него, от народа! Отдают ли себе отчет эти абхазцы в том, что происходит в настоящую минуту?.. С точки зрения исторической...

Он задает себе эти вопросы каждый раз, как открывается занавес. Вот уже тому почти два месяца. И кажется, ответ находится. Утвердительный. И все-таки сомнение велико, ибо слишком величественно дело., которое совершается у него на глазах. Где-то люди смотрят Шекспира и Шиллера, Гольдони и Церетели, Островского и Гоголя. А здесь пока что пьесы простенькие. Так, веселенькие фарсы и водевили. Но вот первые

аплодисменты — и сомнения исчезают. К концу первого действия Гулиа успокаивается. «Кажется, приняли», — облегченно вздыхает он...

После спектакля вся труппа выходит «на поклон», но «сцену» не покидает.

— Мы споем «Интернационал», — объявляет один из артистов.

И абхазцы впервые слушают эту песню на родном языке. Ее перевели на абхазский Гулиа и Чанба.

После спектакля кто-нибудь из крестьян приглашает к себе артистов и соседей. Непременно режут быка. Непременно открывают новую бочку вина. Словом, как на настоящем празднике.

Одна из первых абхазских актрис, Екатерина Шакирбай, пишет, касаясь предыстории абхазского стационарного театра: «Сначала собралась небольшая группа любителей драматического искусства, объединившаяся вокруг Д. И. Гулиа». Следует отметить, что и до двадцать первого года делались попытки ставить любительские спектакли. Во время одного из таких представлений пострадал молодой человек: в винтовке вместо холостого патрона оказался боевой. (В Абхазии до сих пор обожают пьесы, в которых много беготни и стрельбы.) Однако мне хотелось бы сказать несколько слов о первых женщинах-актрисах, участвовавших в передвижном театре. Они здравствуют до сих пор, поэтому не буду называть их имен.

Гулиа, проанализировав имевшиеся пьесы, пришел к выводу, что в составе труппы необходимо иметь по крайней мере двух девушек.

Было очень важно подключить женщин к работе над первыми же спектаклями. Но это оказалось делом не простым, ибо абхазской женщине «неприлично вращаться среди мужчин». Если даже в Европе очень долгое время сохранялось предубеждение против женщины-актрисы, то можно представить себе, как к этому должны были отнестись родители девушек в Абхазии.

Но не привлекать же мужчин к исполнению женских ролей! Если говорить о той же Европе — там позабыли эту проблему лет двести назад. Гулиа поставил себе целью включить в труппу непременно только красивых девушек. Поражать так поражать до конца воображение неискушенных зрителей.

Одна из намеченных девиц была крестьянского происхождения, а другая княжеского. Это имело особый смысл: стало быть, даже княжна не чурается сцены! Лучшей пропаганды, что называется, и не придумаешь. Итак, зритель должен быть ошарашен по всем линиям! Таков расчет.

Однако расчет расчетом, а как его выполнить на практике? Кто согласится отдать своих дочерей в какую-то бродячую труппу? Гулиа был упрям в достижении поставленных целей. Удивительная энергия бушевала в нем. Вот если не сработает авторитет — пиши пропало! Тогда в пору переодевать мужчин и заставлять их пищать на сцене женскими голосами.

Девушки, выслушав Дмитрия Гулиа и, по-видимому, уразумев серьезность театральной проблемы для Абхазии, дали свое согласие на поездки. Но это было лишь полдела: посмотрим, что скажут их родители? А они и слышать не хотели ни о каком театре.

— Кафешантан, что ли? — съязвил князь.

Гулиа набрался терпения (что при его горячем характере было не очень легко).

— Нет, — объяснил он, — театр, а не кафешантан.

— На мою дочь будут пальцем указывать.

— Она скорее выйдет замуж.

— Ее никто не возьмет! Разве ты сам, Дмитрий, женился бы на одной из опереточных примадонн — твоих бывших знакомых?

Гулиа покраснел. Некогда его частенько выдвигали за кулисами театров Алоизи и Самуриди, и отрицать самый факт существования знакомых примадонн было бы глупо... Пытаться воздействовать на патриотические чувства князя — значит понапрасну терять время.

Однако под влиянием последних политических событий князь оказался сговорчивее. Наконец он сказал:

— Ладно, Дмитрий, доверяю дочь тебе. Смотри не взыщи потом: опозорится — в ответе будешь ты.

— Согласен! — воскликнул Гулиа.

Договориться с другой «актрисой» было значительно легче: пример княжны сводил к нулю всякие кривотолки о девицах-актрисах...

Итак, первый абхазский театр приобретал черты, с одной стороны, демократического театра, связанного с первых же шагов своих с народом и работающего для народа, а с другой — театра почти профессионального, смешанного по составу. Для полного триумфа недоставало еще одного — билетов, так как гастроли полностью субсидировались государством.

— Билеты, пусть недорогие, пусть символические, — говорил Гулиа, — но должны существовать. Человек, любящий искусство, должен нести какие-то жертвы: значит, оно ему нужно позарез, значит, он жить не может без искусства, как без хлеба.

Театр объездил Кодорский и Гудаутский уезды. Ясно было даже слепому, что народ нуждается в своем театре, что театр близок его сердцу и

что можно смело подумывать об организации профессионального театра в Сухуме.

Нельзя закончить эту главу, если не вспомнить слушателя семинарии Антона Шакая. Он был одним из главных творческих лиц в труппе. Кроме того, на нем лежали и административные функции. Он был подлинной душою коллектива. Что же еще можно потребовать от молодого человека, недавно пасшего буйволов и пахавшего поле сохой? К величайшему сожалению, он не смог выехать на гастроли: заболел тифом и слег в больницу. Дмитрий Гулиа писал: «Новообразованную группу надо было сплотить, направить к единой цели, согреть любовью к искусству. Большая заслуга в этом деле принадлежит покойному слушателю техникума Антону Шакая. Его помощь при организации труппы оказалась исключительной. А. Шакая говорил о предстоящих гастролях со сверкающими от волнения глазами. Но ему не суждено было увидеть и пережить тот успех, который выпал на долю участников труппы. А. Шакая был энтузиастом, полным творческих сил и способностей».

Елена Андреевна ежедневно носила ему еду — бульон и кусочки сухарей. Но сердце Антона Шакая сдало. Это была большая потеря. Он наверняка сделался бы крупным деятелем абхазской культуры. Для того, кто знал Шакая, вовсе не требовалось быть пророком, чтобы предсказать ему блестящее будущее. Всегда, при всех удобных случаях надо поминать добром людей, подобных Шакая: они горят недолго, как метеоры, но даже кратковременные вспышки двигают жизнь вперед. Что толку, если иной тлеет всю жизнь, словно головешка в золе?

Смерть Шакая омрачила радость участников труппы. Однако жизнь есть жизнь, и дни потекли своим чередом. Человек, несомненно, оптимистичен по своей природе и именно потому способен выстоять в часы тяжкого горя. А иначе бы жизнь исчезла на земле и человека снова пришлось бы лепить из глины.

В этом, двадцать первом, году исполнялась тридцатая годовщина со дня окончания работы над «Абхазским букварем». В заметке «Абхазская литература» мы читаем: «С тех пор как начали читать и писать по-абхазски... из печати вышло шестьдесят книг на абхазском языке. Большая часть из указанного числа вышла недавно, после установления власти Советов...» Словом, можно было подвести некоторые итоги. Общественность Сухума решила отметить тридцатилетний творческий юбилей Дмитрия Гулиа. Это был его первый юбилей. Инициаторами явились учителя и слушатели семинарии.

Вечер состоялся в бывшем театре Самуриди (ныне кинотеатр «Апсны»). Отец стоял в холщовой рубашке, навывтяжку, как солдат на посту, окруженный тесным полукольцом своих друзей. Мы вместе с матерью сидели в ложе. Народу набилось в театр, что называется, битком. Речи произносились горячие, немного старомодные, но искренние. Адрес сослуживцев по семинарии, украшенный рисунком художника Николая Паевского, начинался так: «Отмечая этот знаменательный день, завершающий Ваши тридцатилетние труды на пользу горячо любимого Вами народа...» и так далее.

Мы были в восторге: нам в ложу принесли цветы. А на сцене их было такое множество, что и не описать. После официальной части состоялся концерт. Отец сидел с нами очень довольный и взволнованный. Из исполнителей врезалась в память одна артистка — колоратурное сопрано. Голос у нее был очень приятный, высокий. Публика многократно требовала ее на сцену. Неистовство не прекращалось — и певица вдруг сорвала с себя парик, и перед изумленным залом предстал... мужчина. Кажется, это был коронный, последний номер концерта, и публика разошлась...

Мы всей семьей тащили цветы, каждый по букету. Дома ждала нас бабушка с маленькой Таней. И ждал праздничный ужин: бабушка испекла кукурузный чурек с отрубями, на столе появились очищенные зубья чеснока и чай с сахарином. Среди букетов живых роз при свете керосиновой лампы «чудо» мы чувствовали себя великолепно.

Молодая советская власть преодолела интервенцию. Погашены последние очаги гражданской войны. С Кавказа изгнаны меньшевики, дашнаки и мусаватисты. Начиналась новая война — против разрухи и голода. Образ «Ташкента — города хлебного» маячил перед глазами у всех. Тиф свирепствовал. Волнами наступала «испанка», унося массу жертв.

В Сухуме появились свои «Окна РОСТА» — «Абхазское РОСТА». Отец познакомился с художниками, приехавшими из Москвы, — четой Булаковских (жена, Ольга Викторовна, носила фамилию Лишева). Так как я любил рисование, отец пригласил художников к нам домой. И мы с ними подружились. Ольга Викторовна посмотрела мои рисунки, наши декорации (у нас с братом был свой домашний театр) и настояла на том, чтобы я ходил в мастерскую «РОСТА» и к ним домой. Вместе с ними в «РОСТА» работал художник Самсон Надарейшвили. У меня сохранился рисунок Лишевой, изображающий меня рядом с гигантом Самсоном (я был чуть выше его колен).

Надо сказать, что, несмотря на свою загруженность, отец всегда

находил время заняться детьми. Он пытался привить нам вкус к чему-нибудь в зависимости от наших наклонностей. Во мне он поощрял тягу к рисованию и стихосложению, в брате — склонность к математике, в сестре — любовь к пению и танцам. Но дело, кажется, не всегда клеилось. И тогда он приходил в ярость и заявлял матери:

— Нет, из них ни черта не получится.

И садился за письменный стол, тут же забывая обо всем на свете. Очень часто мы, двое мальчиков, сплетались в тесный клубок, дубася друг друга. Иногда визг переходил в сплошной кошачий концерт, и тогда отец обращался к матери:

— Ну что я говорил? Разве из них получатся настоящие люди?

Но быстро отходил. И совершенно терял голову, если кто-нибудь из нас заболел. Он никого не подпускал к постели, сам мерил температуру и ломал градусники, если жар нарастал.

Мои занятия у Лишевой подвигались довольно успешно. Через год чета художников выехала куда-то в Крым и затем вернулась в Москву, не заезжая в Сухум. (Булаковский скончался в 1937 году, после войны умерла Ольга Викторовна. Они похоронены на Новодевичьем кладбище.) О них в нашей семье всегда думают с любовью и благодарностью.

Нас по-прежнему навещали крестьяне. Привозили с собою хорошие вести: князья и дворяне, наконец, поджали хвосты, вся земля передана крестьянам, школы растут. Чего еще желать душе?

У нас дома появилось электричество. Абхазцы удивлялись яркости лампы. Один старик вздумал прикурить от нее. И когда ничего не вышло, страшно удивился.

— Дырмит, — сказал он укоризненно, — ты всегда был немного не таким, как все. Что же ты еще придумал?

— Это не я, а Эдисон, — шутил отец.

В назначенный час Гулиа усаживался за работу — это был железный закон. Правда, отец никуда не скрывался: людские голоса ему не мешали. Мать развлекала гостей, в то время как мы, дети, царствовали под столом и делали почти все, что взбредет в голову. (Я до сих пор не понимаю, как можно было сносить наши дикие забавы. Сейчас дети, по-моему, гораздо разумнее, или же их попросту держат в ежовых рукавицах.)

Газета «Апсны Капш» печатала стихи молодых поэтов. Гулиа часто прочитывал их с полным равнодушием: версификация может тронуть только поэтического ихтиозавра. Для прочих она противопоказана.

Об авторах таких стихов Гулиа говорил:

— Эти перестанут писать в двадцать лет, когда поймут, что поэзия

дело накладное.

Он жадно выискивал живое зерно среди этой поэтической пустыни, но, кажется, ничего не находил. До поры до времени это его не смущало: нельзя же нарождаться большой поэзии без издержек, без графоманства и честного стихоплетства. Только заядлые «планировщики», привыкшие планировать и поэзию, подобно кирпичам и шлакобетону, ударяются в панику, не досчитавшись гениев. Гулиа писал впоследствии: «Литература словно гора — есть вершины, есть седловины, есть ущелья и даже пропасти. Из одних гениальных вещей ни одна литература не состоит». Но вот появились стихи молодого поэта Иуа Когониа из села Кутол, и Гулиа словно бы встрепенулся.

— Я так и думал! — воскликнул он. — Кажется, родился настоящий поэт! Ну, теперь нас трое: Чанба, Когониа и я. Трое — это уже не один!

Скоро и мне довелось увидеть нового поэта: сухощав, открытый взгляд, небольшие усики, в уголках рта — таинственно-добродушная улыбка. Он принес отцу небольшой рассказик, вернее — пересказ какой-то народной легенды. (Эта рукопись не так давно была обнаружена в бумагах Гулиа и опубликована.) Когониа был совсем молоденький, может быть лет двадцати. Про запас у него имелись отрывки из поэм...

— Поэм? — переспросил отец.

— Да, поэм, — ответил Иуа смущенно. И поспешил добавить: — Но есть и короткие стихи.

— Читай сначала короткие, — сказал Гулиа, — длинно писать всякий умеет.

— Неужели же всякий?

Гулиа подумал. Он был вежлив, резкость не в его обычае. За одним исключением: когда речь о литературе. Тут он беспощаден...

Гулиа смотрел на своего младшего собрата пронзительно, точно оценивая, выдержит ли он резкость суждений.

— Да, всякий, кто сумеет раздобыть бумаги и чернил, — сказал Гулиа жестко, — и в ком есть капля воображения. Надо писать коротко. Но это дар божий, и к тому же приобретается тяжким трудом, потом, кровью, бессонницей. А ты думал как?

— Хорошо, я прочту вам короткие, хотя полагаю, что те, длинные, лучше.

Долго слушал Гулиа. Просил прочесть еще раз. Взял рукопись, чтобы просмотреть глазами.

У Елены Андреевны давно был обед. Не раз приглашала она к столу. Однако тщетно: отец не обращал внимания на ее знаки. С ним такое,

скажем прямо, бывало не так уж часто.

Наконец Гулиа встал, обнял молодого человека и повел в столовую.

— Леля, — сказал он громко и торжественно, — вот это настоящий поэт. Он будет большим человеком. — Затем сел и молча принялся за еду. Хозяйка взялась за свою роль: ей надо было занять гостя разговором — неудобно же всем сидеть молча.

Когониа в течение последующих лет опубликовал несколько поэм и часть своих стихов. Это замечательные произведения. Легенды в них переплетаются с подлинной жизнью. И в легенду начинаешь верить — она становится как бы реальностью. Между тем и жизнь словно бы меняет свое обличье: она представляется несколько иною — возвышенной, романтической. Такова, например, поэма «Навей и Мзауч» — абхазский вариант ивиковых журавлей. Поэма преисполнена благородства. Она рассказана устами чудесного правдолюбца и как бы призывает к миру: не делайте зла никому, ибо оно откроется, и тогда карающий меч настигнет злодея. Вы скажете, что в мировой литературе эта сентенция не нова. Верно, один из косвенных источников я уже назвал. Но дело в том, что рассказ ведется абхазцем и для абхазца. В поэме отразился национальный дух народа. Образы ее неповторимы. Поэма кажется опозитизированной достоверностью. Где достоверность — там начинается большая литература, ибо сами по себе никакие магические словосочетания не делают литературы. Борис Брик, человек милый, удивительно тонко разбиравшийся в поэзии, и первоклассный переводчик, перевел поэму на русский язык, и она включена в «Антологию абхазской поэзии», изданную в Москве. (Брик погиб в 1941 году неведомо за что и ныне, как многие другие, посмертно реабилитирован.) Мы читаем в критических исследованиях, что «поэмы Когониа — замечательные произведения, сделанные рукою мастера по любимым его народом устно-поэтическим преданиям и мотивам». Что все это значит? Разве это не то же, что подносить к носу бумажный цветок и пытаться понюхать аромат живых цветов? Верно, Когониа обращался к народным мотивам. Так и Микеланджело брал каррарский мрамор и высекал из него Давида. Если между необработанным мрамором и мраморным изваянием можно ставить знак равенства, то вполне справедливо утверждение о том, что Когониа «умел оригинально обрабатывать фольклорный материал». Как иногда, не желая того, мы принижаем творчество поэта!..

Когониа решил свое образование продолжить в Москве. Отец рассказывал дома (он любил передавать все самое значительное, случившееся за день), что встретил Иуа. Тот отплывал на пароходе в

Туапсе.

Отец задержал его руку в своей и почему-то сказал:

— Иуа, нас очень мало. Побереги себя. Ради нас.

— Спасибо, Дмитрий Иосифович, я постараюсь. Но Гулиа не хотелось расставаться так скоро.

— Я это говорю серьезно. Ты молод и, возможно, недостаточно внимательно слушаешь меня.

Когониа запротестовал.

— Я хочу, — продолжал Гулиа, — чтобы ты запомнил следующее: ты уже не принадлежишь себе. Ты взял большие обязательства перед своим народом. Главное — береги себя.

Иуа обещал.

Чтобы закончить о нем рассказ, я хочу перенести вас мысленно на несколько лет вперед — в год 1928-й. Большая группа абхазских интеллигентов встречала пароход, прибывающий из Туапсе. На нем доставили тяжело больного Иуа Когониа. Его внесли на носилках в гостиницу «Ориенталь», чтобы на завтра отправить в село Кутол, к матери. Я запомнил его глаза, точно сливы, и блестящие, как стекло. Вся жизненная сила сосредоточилась только в них. Они светились радостью, словно изнутри были подсвечены каким-то феерическим светом. Из них струилась теплота. Он улыбнулся отцу. Я больше его не видел. Его увезли на следующий день в Кутол. И он умер там на руках матери. Вот так всегда: человек уходит, песни остаются...

Елена Андреевна порою журила отца, напоминая ему имена каких-то опереточных примадонн. Отец краснел, как юнец.

— Леля, — говорил он с укоризной, — что ты говоришь?

Мать хохотала, указывая на его румянец и еще больше вгоняя отца в краску.

Это были милые шутки. Но ежели говорить серьезно, я не помню, чтобы какая-нибудь романическая история омрачила отношения между матерью и отцом. Я это подчеркиваю для того, чтобы отвести всякие упреки в ханжестве по моему адресу. Если бы мне было известно хотя бы одно увлечение отца, я бы сказал об этом, не стесняясь. В конце концов живем мы раз, и ежели заговорил, то говори только правду. Мне трудно, да и невозможно сейчас восстановить что-нибудь из того, что было «до». Я бы сделал это, если бы это было в моих силах, памятуя, что был молодцу не укор.

Гулиа писал: «В работе мне помогала моя жена. К слову хотелось бы

заметить, как важно для писателя иметь хорошую жену-друга. Я бы не совершил и сотой доли того, что совершил, если бы не Елена Андреевна — женщина, готовая на самопожертвование, когда дело касается литературы, искусства». В абхазских семьях, особенно патриархальных, не принято распространяться о своих чувствах к женщине. Муж никогда при других не назовет жену по имени, не осмелится и жена произнести его имя. Это было бы величайшей бестактностью. Таких людей в деревнях презирают. Глубочайшей воспитанностью веет от невестки, которая за всю жизнь не заговорит со свекром. Сейчас все это постепенно отходит в прошлое. Однако и нынче говорить о своих чувствах можно только сверстнику или сверстнице. И до сих пор на свадьбах жених отсутствует: его попросту нет на территории того двора, где идет пиршество. Здесь только невеста, где-нибудь в углу, покрытая фатой. Было бы светопреставлением, если бы жених присел к общему столу, тем более рядом с невестой, да еще целовал ее при всех. Это исключается. Таков обычай этого народа. Но в той стыдливости и сдержанности, с которой абхазец говорит о своих чувствах, есть что-то мужественное. Объяснение в любви также сдержанно. Здесь больше полагаются на чувство, нежели на язык. Если мужчина молча преподнес девушке платок, то это событие особой важности. С ним ни в какое сравнение не идут ни пылкие объяснения Ромео, ни серенады донжуанов. Казанова просто не был бы понят в Абхазии и его пристрелили бы на первой же развилке троп. Для новобрачных строится специальный домик — амхара. Стоит он где-нибудь в сторонке, подальше от любопытных. И будет стоять до тех пор, пока домашние не привыкнут к молодой невестке.

Все это вовсе не означает, что чувства у абхазцев слишком скованны. Речь идет о скромности на людях. Что же до многих произведений абхазской литературы (к сожалению, не только абхазской), невольно поражаешься скудости плотских чувствований, как будто их вовсе не существует. Это беда многих и многих книг. Истоки ее надо искать в мещанских вкусах, которые все еще цепляются за нас. Верно, любовь в жизни не самое главное, но и не последнее, скажем прямо. Дозировки здесь не существует — просто писателем должна быть отыскана та мера, которая отличает дурной вкус от хорошего. Правильное решение подскажет сама жизнь, о связи с которой так много говорим. Но заметим, что литература не может быть зеркально точным отображением жизни. И тем не менее наши критики часто предъявляют книгам требования, амплитуда колебания которых весьма велика. В такие минуты хочется вспомнить совет Владимира Маяковского: «Вот вам мое стило и, пожалуй, пишите сами!»

Я наблюдал отца с тех пор, как пробудилось во мне сознание. Я слышал его последний вздох. Одна им владела страсть — к родной культуре. Жил и работал ради своего народа, любя и уважая другие народы, учась у них и во многом им подражая. Он всегда был слишком занят, чтобы разрешить себе пустое времяпрепровождение — пустое постольку, поскольку оно отвлекало его от основного дела. Вне этого дела, повторяю, он не знал жизни. И самой большой наградой для него было появление новых имен в абхазской литературе и новых произведений.

Вскоре после того, как радиogramма оповестила «всех, всех, всех!» об установлении власти Советов в Абхазии, была образована Абхазская Советская Социалистическая Республика (на определенной договорной основе она вошла в состав Грузинской республики). Ревком Абхазии писал? «Советская республика маленького народа служит наглядным примером великой освободительной роли Красной Армии и является новой пощечиной, которую нанесла Великая Октябрьская революция угнетателям малых народов...»

Леверсан Квициния писал в стихах «4-е марта»: «Сегодня песнями и плясками шумит веселая Апсны... Сегодня смуглые абхазцы, грузин, и сван, и осетин сошлись опять, чтобы поклясться, что их союз навек един...» Абхазия — страна многонациональная. Укрепление дружбы между всеми ее национальностями имело первостепенное значение. Оно было достигнуто и здесь, так же как и в других республиках. Этим мы обязаны интернациональному характеру коммунистического движения, ленинской политике, неукоснительно проводившейся с первых дней революции. Ленин, преисполненный заботой о республиках Кавказа, советовал коммунистам: «Больше мягкости, осторожности...»

Молодая власть провела национализацию земли. В 1921 году между крестьянами были распределены до сорока тысяч десятин бывших помещичьих земель. Жизнь понемногу налаживалась. Спустя пять лет посевная площадь превзошла дореволюционную. Восстанавливалась старая и строилась новая промышленность. Усиленно велись поиски полезных ископаемых, благоустраивались курорты. Были проведены реформы школьного образования, созданы новые абхазские, грузинские, русские, армянские, греческие школы.

Серго Орджоникидзе говорил: «Абхазия — маленький уголок, и я лично ее знаю, когда был еще молодым и работал сельским фельдшером в Гудаутском уезде...» «Абхазия теперь самостоятельная республика. И мы говорим: кто хочет опять сделать ее чьей-нибудь колонией, того по рукам.

И всякий, кто осмелится вспомнить старое, — по рукам, по рукам его...» «Абхазцы должны знать, что Абхазия — автономная республика и равноправная среди нашего Союза». Эти слова вызвали подлинный энтузиазм.

— Ты замечаешь, — сказал как-то отец Елене Андреевне, — все меньше сельского люда ночует у нас?

Кто-кто, а уж мать, столько трудов положившая на прием гостей, отлично замечала это. (Константин Симонов писал о нашем доме: «В этом доме, построенном так, что, пожалуй, он был больше удобен для гостей, чем для хозяев, часто бывало шумно, потому что сюда приходило и приезжало много людей».) Если раньше в городе негде было переночевать крестьянину, то теперь уже имелся Дом крестьянина. Если раньше врача можно было найти только в городе, то теперь он был чуть ли не в каждом селе. Одним словом, жить крестьянину становилось все лучше и лучше. Да и не только крестьянину. Миновали годы разрухи и голода. Ленинский гений при помощи новой экономической политики совершил чудо: страна насыщала желудки, наливалась соком.

Однако борьба еще не затихала. Да и не могла она исчезнуть по мановению руки: кое-кто надеялся на возвращение старых порядков. Молодая власть, естественно, стояла на страже своих завоеваний. Чемберлены грозились из-за рубежей, подбадривая врагов внутренних. Однако для каждого здравомыслящего было ясно: буржуазия Российской империи проиграла. Новое победило!

Однажды отец явился домой хмурый, неразговорчивый. Такое бывало с ним очень редко. Он передал разговор, который состоялся у него с наркомом внутренних дел Абхазии. И вот по какому поводу.

Брата Елены Андреевны — Иосифа — арестовали. ЧК пыталась установить, в какой степени он был идейным меньшевиком. Отец решил походатайствовать за него. И вот в кабинете наркома внутренних дел (по совместительству и председателя ЧК) произошел такой разговор.

— Ваш шурин обвиняется в меньшевизме, — сказал нарком.

— Я знаю, — отвечал Гулиа, — и берусь утверждать, что он сделался меньшевиком из-за пары сапог. Причем сапоги-то оказались на одну ногу. И вообще, — продолжал Гулиа, — я не понимаю жестокости: парнишка, согласен, совершил глупость. Ну и что ж? Отдерите за ухо — и дело с концом!

Нарком развеселился.

— Дмитрий Иосифович, вы крайне наивны...

— Верно, я беспартийный.

— Это само собой. Видите ли, если бы мы так рассуждали, то поставили бы под удар государство.

— Под удар? — перебил Гулиа. — Вас пугает этот юнец? Я, например, не боюсь и десятка таких. Неужели же такое государство, как наше, трусит перед ним?

Нарком сказал:

— Перед нами стоят великие цели. Впереди — мировая революция.

— Очень хорошо. А при чем мой шурин?

— Надо выяснить, враг ли он.

— Отпустите и выясняйте. Хотите, я возьму его на поруки? Ведь на поруки отдавали и при царе!

— Это смотря кого.

— Вот таких, как мой шурин, мальчишек. Ему двадцать два года. Нельзя же так ожесточать сердца.

Комиссар принял важный вид.

— Дмитрий Иосифович, если ради интересов мировой революции пришлось бы стереть с лица земли весь абхазский народ, у меня не дрогнула бы рука.

Гулиа потрясли эти слова. Он знал этого бравого молодого человека. Еще по семинарии. Кстати, комиссар был родом из Адзюбжи.

— Послушайте, — сказал Гулиа, — ради чего вы стремитесь к мировой революции? Ради народа?

— Да, ради народа!

Гулиа развел руками.

— В таком случае я не понимаю. Выходит так: ради народа — мировая революция и ради нее же — истребление народа? Может быть, я ничего не смыслю в политике. Но я человек и заявляю вам: не надо излишней жестокости. Это вроде инфекционной болезни — жестокость! Сегодня вы жестоки к одним, завтра — другие будут жестоки к вам. Не забывайте этого. Не я придумал сию мудрость...

Он встал, надел шапку и, не говоря более ни слова, покинул кабинет.

Рассказывая об этом, отец сердито стучал кулаком по столу и называл комиссара «адзюбжинским мозгляком». А вечером появился Иосиф... (Что же касается комиссара, то впоследствии его постигла жестокая участь многих: он был расстрелян в 1937 году.) Гулиа, по-видимому вспоминая случай с наркомвнуделом, писал: «Когда мне слишком «левые» товарищи рисовали картину «мировой революции», в которой Абхазия всего-навсего малозначащая капля, у меня — не скрою — невольно выпадало перо из

рук. Стоит ли трудиться ради капли, которая все равно испарится?..»

Гулиа писал: «В советское время развитие абхазской литературы пошло бурно». Этому способствовала вся обстановка в Абхазии; внимание к национальной культуре и к самому человеку гор, о чьем житье-бытье и образовании пеклась молодая власть. Книг выходило все больше, росла интеллигенция, прибывал в семьях достаток. Словом, обстановка весьма благоприятствовала прыжку вперед. Но человек жаден. Ему всегда хочется большего. Особенно такому нетерпеливому, как Гулиа. По-видимому, дело, которому он служил, подвигалось не так быстро, как того хотелось. Нетерпеливость Гулиа росла. Он полагал, что от советской власти можно требовать значительно большего, если учесть к тому же, что почти на всех важных постах в республике работали абхазцы.

— Не все понимают значение нашей культуры, — сокрушался он порою.

Может быть, это было некоторым поэтическим преувеличением? С каждым годом появлялись новые литературные имена. Подавали большие надежды Михаил Лакербай и Мушни Хашба. Лакербай работал на посту одного из редакторов «Апсны Капш», писал стихи и делал успехи в публицистике. Хашба еще в 1920 году написал пьеску «Детская сцена» (на обложке указано, что книжка издана на средства Д. Гулиа). Позже проявил себя способным рассказчиком и публицистом. Смело можно было сказать: нашего полку прибыло. Однако Гулиа и это не удовлетворяло.

— Почему на литературу обращают мало внимания? — спрашивал он друзей.

Гулиа заявлял, что работает над «Историей Абхазии», но это, как ему казалось, не приводило в восторг абхазских руководящих товарищей. Вопрос о дотации на издание «Истории», например, разрешался медленно.

В один прекрасный день Гулиа всей семьей переехал в Тифлис. Его пригласили в государственный университет читать курс абхазского языка. Истины ради следует сказать, что Гулиа уехал не с очень-то радостным сердцем, хотя само по себе общение с такими учеными, как Иван Джавахишвили, было приятным, несомненно, льстило самолюбию поэта. В самом деле, как же мог Дмитрий Гулиа оставить Абхазию в тот момент, когда, может быть, она нуждалась в нем, как никогда? Выезд из Сухума был своеобразным протестом против равнодушия властей к некоторым вопросам развития абхазской культуры. Я полагаю, что здесь точнее было бы употребить не слово «властей», а более гибкую формулу: «отдельных руководящих товарищей». (Думаю, что историков литературы такая

формулировка больше устроит.)

Мне бы не хотелось ворошить этот эпизод из далекого прошлого, тем более что он не имел особых драматических последствий, а в расширении научного кругозора Гулиа и укреплении связей с грузинской интеллигенцией сыграл большую роль. Не хотелось бы и потому, что те, кто стоял в Абхазии у власти в то время, были сравнительно молоды, неопытны и многое делали без злого умысла. А еще и потому, что они жестоко и несправедливо пострадали в тридцать седьмом...

Тифлис поражал. Своими размерами. И размахом радушия и гостеприимства. Там я впервые увидел трамвай и фуникулер. В центре города красовался караван-сарай. Шумный Майдан как бы переносил ко дням Пушкина. Неподражаемые духаны. И великолепные духанщики. И отчаянные кутилы. Теперь их увидишь только на картинах Пиросмани. Но для этого неумемного и жадного до веселья Тифлиса я был еще юн. А отец слишком занят своим делом. К нам ходили филологи и историки, поэты и прозаики. Мы хорошо знали Тифлис Ивана Джавахишвили и Галактиона Табидзе и очень мало — Тифлис весельчаков. Симон Джанашиа, сын Николая, друга детства Гулиа, был еще тогда совсем молод и ютился в крохотной квартирке. Пройдет полтора десятка лет, прежде чем он станет прославленным ученым. Отец подружился с Николаем Ушаковым — любителем истории и археологии. При мне он расшифровывал хеттскую надпись на какой-то чаше. Я помню слова: «Я, царь хеттов, повергший во прах...» Мне казалось, что все цари древности всегда кого-нибудь повергали во прах. Теперь-то я знаю, в чем секрет: их деяния превозносили до небес писцы-подхалимы и живописцы-лизоблюды. Ибо сам о себе не может написать подобную чушь даже самовлюбленный изверг, «всех повергающий во прах».

Я вместе с братом учился в школе Левандовского (так называли по инерции 42-ю трудовую школу на Гунибской улице). А жили мы близ Вэрийского базара, где всегда полным-полно было зелени, сыра и разной живности. В прохладных подвальчиках по утрам потчевали хашем (теперь это предел мечтаний старожилов).

Отец заканчивал «Историю Абхазии». Обсуждал с грузинскими друзьями различные проблемы истории и языка. Пошли корректурные гранки. Абхазские тексты, как и двенадцать лет назад, набирал Лабутин. Вся семья помогала Гулиа считать корректуру. Иногда это было мучительно, ибо под окнами нас ждали мальчики с мячом. Через шесть лет — в 1930 году — я вернулся в этот город, чтобы получить инженерное

образование. Внешне город мало изменился. Реконструкция его только намечалась. Но продовольственные карточки и очереди наложили на город определенный отпечаток. Газеты превозносили какого-то пекаря, предложившего оригинальный рационализаторский метод. Суть была проста: как из килограмма муки получить десять килограммов отличного хлеба, экономя муку и отруби и не жалея воды. Эта проблема, должен сказать, разрешалась — весьма успешно. И тем не менее тифлисцы не падали духом; ведь и на воде можно проявить гостеприимство — она-то из Куры! В литературе шли ожесточенные споры. Был в них какой-то зловещий смысл. Из-под вороха трескучих фраз некоторых официальных ораторов проглядывали недвусмысленные угрозы. Иван Джавахишвили, по существу, был отлучен от университета. Но я опять забежал вперед...

В 1925 году вышла, наконец, в свет «История Абхазии». Субсидировал издание Наркомпрос Абхазии. Тираж ее — тысяча экземпляров. (Она стала библиографической редкостью, которую молодежь знает только понаслышке.)

Пожалуй, ни одной своей книге Гулиа не был рад, как этой. Он долго держал экземпляр под подушкой, внимательно перечитывал и делал на полях пометки. До конца жизни она была его любимым детищем. Может быть, потому, что воплощала юношескую мечту? Или потому, что он вложил в нее поистине титанический труд? Гулиа никогда не ждал благодарности, но ни одна книга не доставила ему столько огорчений и обид, как эта. И о ней я бы хотел сказать несколько слов.

Первое. Каждый, кто возьмет в руки «Историю Абхазии. Том I», несомненно, почувствует, какой обширный материал «перелопатил» автор. Иногда в течение месяца, работая не покладая рук, отец добывал всего-навсего новую цитату в две или же одну строку — свидетельство какого-нибудь ученого. Он составил картотеку, которую перебирал, как только выпадала свободная минута. По-видимому, он собрал уникальное число свидетельств. Академик Марр писал по этому поводу: «...Бесспорный факт, что до сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как Гулиа, не интересовался одновременно прошлыми судьбами и настоящим бытом Абхазии, ни один ученый, ни в Европе, ни на Кавказе...» «Меня поразило и то, как Д. И. Гулиа... использовал значительное число произведений литературы об абхазцах!...» Захар Агрба и Арсений Хашба отмечали: «... Это наиболее полная и серьезная работа по истории Абхазии». (Историю Абхазии, отдельные ее моменты освещали также Симон Басариа, Семен Ашхацаа, Константин Кудрявцев.) Итак, Гулиа собрал огромный и ценный

материал по истории Абхазии. Этот тезис никогда и никем из его критиков, даже самых резких, не оспаривался.

Второе. Гулиа в своей работе опирается на этнографию, язык абхазский и местную топонимику. И этот факт заслуживает быть отмеченным. До Гулиа, как говорят ученые-абхазоведы, никто не опирался на эти необходимые элементы, ведя речь об Абхазии и ее прошлом. Можно утверждать с абсолютной уверенностью, что в этих вопросах Гулиа был крупным авторитетом и сведения, сообщаемые им, — из первых рук. В своих работах он старался быть объективным и выражал собственное мнение. (Гулиа никогда не смог бы утверждать что-либо противоречащее его убеждениям, следуя правилу некоторых «ученых»: «Чего изволите?»)

И эта сторона его «Истории» признавалась критиками и никогда не ставилась под сомнение. Георгий Дзидзария, подчеркивая, что «перу Гулиа принадлежат более 40 научных трудов и учебников», писал: «...Научные труды Д. И. Гулиа, как и все его творчество, проникнуты чувством большой любви к родине, народу...» «Особенного внимания заслуживает работа Д. И. Гулиа по составлению абхазских учебников — от абхазской азбуки 1892 года до книг, вышедших в 1953 году». В своей «Истории Абхазии» ее автор опирался и на фольклор, великолепным знатоком которого он был. (Нина Лакоба констатирует: «Большую работу по сбору абхазского фольклора провел Д. И. Гулиа».) Научной деятельности Гулиа посвящена прекрасная статья Георгия Сердюченко, написанная в форме воспоминаний...

Третье. Дмитрий Гулиа воспринял от древних авторов теорию египетского происхождения абхазцев. «Ею воодушевлен, — писал академик Марр, — в наше время уважаемый наш коллега Дмитрий Иосифович Гулиа». Я уже говорил, что она была навеяна утверждениями Геродота. Может быть, легендарными. Но ведь поверил же Шлиман Гомеру и обнаружил Трои! Шлиман копал с томиком «Илиады» в руках. В восприятии «теории» Геродота я не вижу криминала, как некоторые критики того времени.

Приняв на веру теорию египетского (эфиопского) происхождения абхазцев, Гулиа бросил в бой всю свою технику. Надо сказать, к его чести, что был он достаточно определен. Он заявлял: «...кол-хи (абхазцы и их родственные племена) вышли из Египта и Абассии, вообще из Африки». Определеннее не скажешь. И как бы становясь на горло собственному темпераменту, он писал: «...связь абхазцев с племенами Африки должна подвергнуться дальнейшему обсуждению». Но никто не желал обсуждать этот вопрос. Оппоненты Гулиа были совершенно уверены, что все это неправда. А почему неправда? Они рассуждали просто:

— Если это правда, то надо признать буржуазную теорию миграций. Без миграций абхазцы не могли бы прийти из Египта.

— Верно, — отвечал Гулиа. — Это так. Но вы, значит, вовсе отрицаете миграцию?

Один крупный академик, читавший в Сухуме лекцию, на этот вопрос ответил:

— Да.

— А Чингисхан? Разве не покрыл он гигантское расстояние вместе со своими соратниками?

Академик был слишком догматичен, чтобы ответить на этот вопрос, не греша против истины. А Гулиа категорически утверждал: «Нынешние абхазцы жили испокон веку в нынешней Абхазии, то есть в бывшей Колхиде...» Это важная мысль. Стало быть, абхазцы вышли из Египта очень давно. Гулиа полагал, что это могла быть часть войск Рамзеса II, ведшего войны с хеттами чуть ли не у границ Кавказа. Гулиа высказывает любопытную мысль, которую в то время никто и слышать не хотел (я имею в виду его критиков). Вот она: «Влияние Хеттской империи простиралось... и на Закавказье, и хетты могли этих переселенцев из Африки поселить сюда, в прибрежную полосу...»

Давайте проследим эту мысль: египтяне, возможно, их войска, — частично, разумеется, — оседали в Хеттском государстве. Отсюда эти племена — второй этап — могли проникнуть в Колхиду. Неспроста поместил Гулиа в конце своей книги карту Хеттского государства — не Египта, а именно Хеттского государства! Гулиа очень интересовался хеттами и высказывался в том духе, что связь между хеттами и абхазцами неизбежна, что такая связь абсолютно естественна. Он еще и еще раз повторяет: «...мы полагаем, что абхазцы суть часть семьи колхов; колхи же, как мы сказали выше, вышли с юга, в конечном счете из Египта и Абассии...» Хочется, чтобы вы еще раз хорошо представили себе конец книги: рядом с картой Абхазии — карта Хеттского мира! Символично, не правда ли?

Однако подчеркиваю: никто не обращал внимания на эти карты, на связи с хеттами. И все критики били в одну цель: в египетское происхождение абхазцев. Хетты заодно отбрасываются вместе с египтянами. Ни те, ни другие ничего ровным счетом не, значат для историков-догматиков, поскольку для них нет и не может быть никакой миграции, на какую обрушивается многоголосая анафема. Положительное отношение к вопросу о миграции автоматически вызывало политическое обвинение в принадлежности к буржуазной науке, к

буржуазности. Гулиа в те времена, что называется, ходил в буржуазных националистах. Правда, это не помешало награждению его грузинским республиканским орденом Героя труда (1929 г.), но и радостей больших не доставило. Я в течение многих лет был свидетелем ожесточенных споров вокруг «Истории Абхазии». Даже с высоких трибун различных съездов и совещаний нередко делались выпады против этой книги и ее автора. Один из тогдашних руководителей Абхазии заявлял, например: «Писания Гулиа, Чанба и Ашхацаа у нас подверглись резкой критике, как немарксистские...» А другой публично высказался так: «Он десять лет писал историю Абхазии от Адама и доказывал, что абхазцы происходят из Абиссинии, а в Абиссинии жили эфиопы. Значит, выходит, что абхазец произошел от эфиопа. Пускай Гулиа сам будет трижды эфиоп». (Должен заметить, что в то время интеллигентов не особенно баловали. Гулиа на протяжении многих лет не слышал ни одного теплого словечка от официальных лиц. Но это, к сожалению, была не только его участь.) Однажды отец, разгневанный обвинениями в национализме, сказал одному партийному работнику (безвозвратно исчезнувшему все в том же 1937 году):

— Так в чем же наш национализм, да еще буржуазный?! Порой я думаю, что вам просто-напросто хочется запугать интеллигенцию, сковать ее действия. Только непонятно — зачем?

— Бог с вами, Дмитрий Иосифович!

— Кстати, мне и бога вспоминают. Тут один горе-критик даже к «Ходжану Великому» придрался. Да если мы с этой странной меркой по мировой литературе пройдемся, от нее одни ножки да рожки останутся!

— Нет, этого мы делать не будем.

— А почему? Хотите знать правду? Потому, что вы из Сухума до нее не дотянетесь. Вам этого попросту не разрешат.

Ортодокс повторял заученные зады:

— Мы должны бороться против великодержавного шовинизма и местного национализма.

Гулиа весь клокотал:

— Ну и хорошо, боритесь! А при чем здесь мы? Нас всего около ста тысяч. Прошу не забывать этого. Воинствующий национализм должен ставить перед собой какие-то задачи, хотя бы теоретически. Кому, какой национальности могут угрожать своим господством абхазцы? Нас даже в собственном доме меньшинство. Нам будет туго без русских, грузин, армян, греков. Против буржуазного национализма надо бороться. Это верно. Но для этого прежде всего надо иметь националистов. Не путайте

сплочение народа вокруг собственных культурных задач с национализмом. Нет, мне непонятен «национализм» стотысячного народа, едва обретающего самосознание. Здесь пахнет начетничеством и недомыслием!

Отец стучал палкой о тротуар (беседа шла на улице). Они ни до чего не договорились...

Но вернемся к «Истории».

Основную мысль тогдашних критиков «Истории» выразили Захар Агрба и Арсений Хашба. В предисловии к книге Анатолия Фадеева они язвительно писали о Гулиа: «Свои взгляды о происхождении абхазцев... полностью заимствует из арсенала буржуазной «теории» миграции, разоблаченной сейчас до конца трудами академика Марра, академика Мещанинова и др...» (А все-таки было великое переселение народов или нет? Орды Батыя гуляли по приволжским степям или нет? Аттила скакал по Европе или нет?) Фадеев ниоткуда «не выводил» абхазцев. Они произошли прямо из глины на том самом месте, где живут и поныне. В полном соответствии с его концепцией в предисловии, уже цитированном, мы читаем; «Нет никаких оснований выводить абхазцев из Египта, из Абиссинии, из Австралии, из Огненной Земли... ибо абхазский народ сложился путем скрещения племен... в пределах Кавказа».

Я не хочу утомлять читателя рассуждениями об истории Абхазии и тех перипетиях, которые претерпевали исторические факты в руках поразительных смельчаков. С тех пор прошло немало лет. И вот однажды Гулиа написал письмо ученому совету Абхазского института языка, истории и литературы с предложением переиздать «Историю Абхазии», ставшую совершенной редкостью. В этом письме он, собственно говоря, изложил суть предисловия ко второму изданию (ежели оно будет осуществлено). Он особо подчеркивал: «Если бы эту книгу я писал сейчас, то некоторые вопросы, затронутые в ней, в частности вопрос египетско-абиссинского происхождения абхазцев, вряд ли трактовались бы мной с такой определенностью». И это понятно: шли годы, накапливался материал, особенно археологический, которому Гулиа придавал первостепенное значение, рождались новые теории, проверялись старые взгляды. (В работе «Сухум не Диоскурия» Гулиа писал: «Странно, когда ученые и исследователи пишут и говорят о Диоскурии, не слыша даже звона лопаты археолога».)

Ну, а как стоит нынче вопрос о происхождении абхазцев? Со времени выхода «Истории Абхазии» прошло более тридцати пяти лет. Что же определилось за эти годы? Недавно в Сухуми вышел коллективный труд абхазских и грузинских историков. В нем мы читаем: «Историко-

археологическими данными устанавливается, что в древности (с конца III тысячелетия до н. э.) происходило передвижение племен абешла-кашкайской группы из Малой Азии на Западный Кавказ». (Кашки — абешла рассматриваются как один из предков абхазского народа.) Миграция?.. Разумеется. А иначе что же это такое — передвижение?

Я понимаю, что выводить абхазцев из Малой Азии или же «транзитом» везти их через Малую Азию не одно и то же. Но Гулиа тоже смотрел на юг. Это направление совпадает с тем, которое утверждается новейшей теорией. (С большим удовольствием отсылаю читателей к талантливо написанной книге доктора исторических наук Зураба Анчабадзе «История и культура древней Абхазии», вышедшей в Москве в 1964 году).

Еще раз подчеркиваю: обо всем этом я говорю более или менее подробно только потому, что все это факты биографии Гулиа. И только с этой точки зрения интересуют меня исторические взгляды Гулиа.

Я забежал далеко вперед. И началось это на том месте, где я рассказывал о блаженной поре нашего детства. Нам было неважно, что ели мы мало, что ходили в отцовских обносках. Нас мало смущал молчаливый гнев отца, когда он смотрел на нас сверлящим взглядом (он не терпел даже малолетних шалопаев). Мы частенько грешили дурацкими выходками (это я понимаю только сейчас). Книг у нас дома было много, и мы могли делать с ними все что угодно. Даже читать. Все-таки обходились с ними по-божески. Это мать учила нас бережному обращению с книгой.

Отец правил мои стишки, отчитывал за грамматические ошибки. Он не давал спуска, словно я приносил их ему для печати. Он пел нам «Во лугах» и читал наизусть «Пахнет сеном над лугами». Был недоволен нашими голосами. А сам пел из рук вон плохо. Учил нас декламации, и мы читали абхазские стихи.

Как видно, мы терзали его своей нерадивостью, и он повторял:

— Из них ни черта не получится.

Единственное светлое пятно — дочь Таня: она и пела, и танцевала, и стихи читала. Ее нам ставили в пример.

19 января 1926 года Гулиа встретился с Нестором Лакоба, главою абхазского правительства, в тифлисском отеле «Ориант». Лакоба просил срочно выехать в Сухум. Причина проста: абхазский язык становится государственным, надо налаживать делопроизводство на родном языке. Такова политика в национальном вопросе. Надо расширять сеть абхазских школ. Надо издавать больше книг на абхазском языке. Такова ленинская политика в отношении малых народов. И тут же написал бумагу на

официальном бланке: «Совнарком Абхазии приглашает Вас для работы в Совнарком по практическому проведению в жизнь абхазского языка как одного из государственных языков республики».

Мы быстро собрались и выехали в Абхазию.

По возвращении Гулиа назначается специальным переводчиком при абхазском правительстве. Могу сказать, что работа на этом посту была не безуспешной. А в 1929 году он утвержден председателем Академии абхазского языка и литературы, основанной по инициативе академика Марра.

На первых порах это было скромное научное учреждение — скромное не по задачам, а штатам и материальным возможностям. Но вскоре разгорается борьба, не утихавшая два года. Речь идет о желании и стремлении академика Марра заменить абхазский алфавит новым. С Марром Гулиа объединяли многолетняя дружба и интерес к абхазскому языку. Познания Марра в кавказских языках были блестящи. Гулиа писал: «Он интересовался абхазским языком, и на этой почве, я бы сказал, мы с ним подружались... Это был увлекающийся, горячий, глубоко и разносторонне образованный человек». С годами он не утратил энергии и страсти к бесконечным научным изысканиям. Все, казалось, складывалось хорошо. Но вот, что называется, ополчился Марр против абхазского алфавита. Он составил абхазский аналитический алфавит, якобы учитывавший все звуки всех абхазских наречий. Такой алфавит мог принести кое-какую пользу при составлении научных текстов, а на практике?.. Ведь еще в прошлом веке генерал Бартоломей совершенно правильно решил вопрос. Он писал: «...бзыбское произношение... заменено общеабхазским», то есть кодорским, или абжуйским (оно проще, в нем меньше звуков). Что можно возразить против этого? Кажется, ничего. Но тем не менее «встал» вопрос о введении алфавита, учитывающего и бзыбское наречие. Поскольку это предложение было осенено именем Марра, оно не встретило возражения в руководящих кругах, тем более что «аналитический алфавит» был принят и в некоторых северокавказских республиках. Это безрассудное и ничем не обоснованное мероприятие не прошло гладко. Против него буквально восстал Гулиа. Его поддерживала большая группа интеллигенции, особенно учительство. Поэт неустанно доказывал, что алфавит труден, практически неприменим.

Я помню заседание в академии. Зал переполнен. Гулиа стоит у доски и прилагает последние усилия, чтобы не допустить ненужной ломки алфавита. Доводы его крайне просты. Он спрашивает:

— Где меньше знаков?

И отвечает:

— В существующем алфавите!

— Где проще начертание знаков?

Ответ:

— В существующем алфавите!

Вопрос:

— Значит, мы идем к усложнению?

Ответ:

— Да. А в чьих это интересах? Кому нужен менее удобный, более громоздкий алфавит?

Доводы его кажутся предельно ясными.

Встает академик Марр. Не ждал такой энергичной атаки со стороны старого друга. Начинает речь глухо. Голос его постепенно обретает металлический звон... В чем можно обвинить Гулиа? Во-первых, в том, что он защищает мало обоснованный научно алфавит. Все должно быть по науке. Должны быть использованы все достижения лингвистики. Одно дело — 1892 год, другое — наше время, тридцать с лишним лет спустя. Зал затаив дыхание слушает великого ученого... Во-вторых, нельзя же настаивать только на абжуйском диалекте. Почему бы не использовать богатства и бзыбского наречия? Это обогатит литературный язык. Необходимо иметь научно обоснованный, тщательно разработанный, всесторонне продуманный алфавит. Этим требованиям удовлетворяет только и только «аналитический алфавит». Многие народы приняли его. Очередь за абхазцами.

Гулиа просит слова. Глаза его пылают. Во рту пересохло. Решается на крайнюю меру: да, он покажет, притом наглядно, каков алфавит Марра! Он попытается уничтожить доводы Марра с помощью иронии и смеха.

— Смотрите, — говорит он, — вот буква. Все видите? Что напоминает она?

Гулиа становится в какую-то невероятную позицию балетного танцора, одну руку выбрасывает вверх и сгибает ее в локте, другою подбоченивается и одновременно делает выпад правой ногой.

— Вот иероглиф! — восклицает он. — Кто его нарисует? Слышите? Я говорю — нарисует, а не напишет! Для этого надо иметь под рукой циркуль, линейку и лекало... А теперь — другой знак.

Гулиа принимает еще более нелепую позу. Зал покатывается со смеху. Марр мрачновато улыбается.

Для каждого знака Гулиа находит соответствующее па из какого-то дьявольски сложного танца.

— Верно! — кричит кто-то из зала. Звучат аплодисменты.

Гулиа обводит взглядом собравшихся и резко бросает:

— Нравится такой алфавит — принимайте!

Окончательное решение отсрочено. Марр мечет громы и молнии. Абхазское правительство обескуражено. Но академика заверяют, что все будет в порядке.

Отец возвращается измочаленный. Не спит всю ночь. Не спит и Елена Андреевна.

— Их сглазили, — стонет Гулиа. — Как же можно алфавит менять? На заведомо плохой!

Может быть, следовало бы умыть руки. Но это не в характере Гулиа. Умывать руки, когда под угрозой любимое дело? Никогда! Он будет бороться до последнего, используя все меры убеждения. Нельзя так обращаться с алфавитом, который прочно вошел в сознание народа!

Общественное мнение понемногу раскалывалось.

Некоторые педагоги предлагали испытать новый алфавит на практике.

— Испытать? Алфавит? — сердился Гулиа.

— Отчего бы и нет?

— Разве это лакомое блюдо? Попробовал, не понравилось — отставил; пришлось по душе — принимайся за еду. Это же алфавит, на нем написаны сотни и сотни книг!

— Их переиздадут, — отвечали ему.

— Да, мы отпустим бумагу, деньги, — заверяло правительство. — Все будет сделано для безболезненного перехода на новый алфавит.

— Их всех сглазили! — в отчаянии говорил Гулиа.

А что еще можно сказать?

Гулиа посещает одного за другим руководящих лиц, от которых зависит роковое решение. Повсюду он встречает благодушно настроенных людей. Новый алфавит? Это неплохо. Он научно обоснован. Сам академик горой стоит. Напрасно взывает Гулиа к гражданской совести, увещевая отменить неразумную затею. Ему отвечают, что пароды — один за другим — принимают марровский алфавит.

Крупный ответственный работник прямо так и заявил:

— В нашем алфавите запашок царский.

— Вот оно что! — удивляется Гулиа. — В таком случае внесите предложение, чтобы меняли и русский. В нем запашок такой же, как и в нашем.

Придя домой, отец сказал:

— Очевидно, все посходили с ума. Что делать?

Словом, вводится новый алфавит. Учителя переучиваются, журналисты переучиваются, литераторы переучиваются. Ученики старательно выводят замысловатые иероглифы. Позабыл поставить сбоку маленький кружочек — получил совершенно другой знак. Упустил птичку сверху — опять новый знак. Точки, закавычки, птичечки, кружочки вокруг ветвистых начертаний букв!

Гулиа писал об алфавите Марра: «Предложенный им алфавит, принятый во многих республиках Кавказа, мной был категорически отвергнут. Это резко охладило наши взаимоотношения. Абхазское правительство ввело алфавит Марра. Однако жизнь показала, что в этом споре Марр был не прав — его алфавит просуществовал всего несколько лет и исчез...»

Верно, алфавит исчез. Он не мог не исчезнуть, ибо смерть его была заключена в нем с самого начала, смерть неминуемая.

Алфавита уже не было, но остался колоссальный моральный и материальный ущерб. Началась серия безрассудных экспериментов: вместо того чтобы немедленно вернуться к старому алфавиту, испытанному временем, стали заваривать кашу с алфавитом на латинской основе.

— Почему на латинской основе? — спрашивал Гулиа.

Ему объясняли, что этот, дескать, не такой, как марровский. Тот действительно был плох. А этот, на латинской основе, хорош. Это говорили те же самые люди, которые вчера доказывали «неоценимую силу марровского алфавита».

И опять же приводился знакомый довод: многие республики перешли на латинский алфавит. Неужели отстанут от других абхазцы?

Снова вводится новый алфавит, потом его немного видоизменяют, потом вводится еще один, наконец в 1954 году... возвращаются к старому, тому самому, всем знакомому. В нем произвели несколько изменений, вызванных линотипной техникой, и — работа пошла споро! Но сколько было потеряно времени! Сколько трудов! Сколько бумаги! А ущерб, нанесенный образованию, культуре, литературе? Разве все это подсчитаешь?

Отец говорил в 1954 году:

— Оглядываюсь на жизнь, и мне кажется, что я только и делал, что воевал за алфавит. Это отняло такое количество энергии, что невозможно и сказать. Вот я уж стар совсем и снова — проблема алфавита. Как в молодости. Это же наказание. и придумали его мы сами, абхазцы, на свою голову!

7 ноября 1911 года Гулиа записал изречение Ла-о-цзы: «Как бы я ни

был мало образован, я могу идти по пути разума». Он говорил, вспоминая это изречение:

— Не могу взять в толк, что случилось с нами, почему меняли мы свой алфавит — не раз и не два? Разгадать эту тайну я не в состоянии...

...В 1925 году и до Сухума дошли вести об активизации в Москве троцкистской оппозиции.

В тот год я впервые услышал и запомнил имя Сталин. Это имя нам в то время мало что говорило. Я рисовал Ленина, Маркса, Карла Либкнехта.

Позже, учась в восьмом классе, я понял, что борьба разгорается не на шутку. Оппозиционером, троцкистом оказался наш учитель истории. Называли еще ряд имен.* Говорили, что и писатель Самсон Чанба, занимавший пост председателя Центрального Исполнительного Комитета Абхазии, недостаточно четко определил свои позиции в партийной борьбе.

В общем дело ограничилось тогда идейным разгромом оппозиции. К счастью, обошлось без крови, как и полагается в борьбе, если это борьба идей.

Отец стоял далеко от этой борьбы. Он продолжал свое дело, работая в Академии абхазского языка и литературы...

Была культурная область, к которой Гулиа не прикладывал руки: это музыка. (Впрочем, кажется, это не совсем так. Иван Кортуга пишет: «5 декабря 1923 года в Наркомпросе было созвано собрание, на котором был обсужден вопрос об организации и комплектовании абхазского народного хора. Было решено привлечь к участию в нем сведущих в искусстве лиц из числа знатоков народных песен...» На этом же собрании было избрано правление абхазского народного хора, в состав которого вошли Д. Гулиа, С. Басариа и другие.)

Но вот в один прекрасный день ему представился случай по-настоящему поспособствовать музыкальному развитию.

В Сухум по болезни приехал Константин Ковач (по происхождению венгр). Он работал на Северном Кавказе, но состояние легких вынуждало его к местожительству на юге. Ковач дирижировал городским духовым оркестром, по давней традиции забавлявшим публику на бульваре.

Ковач обратил внимание на одно обстоятельство: в программе оркестра не оказалось абхазской песни. Почему? Никто не мог объяснить этого. И вот дирижер прямехонько отправился в академию, к ее председателю.

— Кто вы? — спросил Гулиа.

— Музыкант.

— Вы сочиняете музыку?

— Пробовал, — скромно ответил Ковач.

Он был худощав, бледен. Мелкие черты лица, узкие глаза. И очень похож на абхазца: нос с горбинкой, волосы черные...

— Чем могу быть полезен? — поинтересовался отец.

— Я хотел бы познакомиться с абхазскими песнями.

— Тогда поезжайте в деревню.

— А к кому обратиться в городе? Есть здесь знатоки?

Гулиа подумал.

— По-моему, Кондрат Дзидзариа.

Ковач собирался было уйти.

— Скажите, пожалуйста, — остановил его Гулиа, — а могли бы вы поехать в села, в горы? И записать песни?

Ковач ухватился за эту идею.

— Да, я бы записал много песен. Я бы оркестровал их, и наш оркестр играл бы их с удовольствием.

Так родилась идея о командировании Ковача в районы Абхазии на средства Академии языка и литературы. Ковач оказался способным человеком и сторицей возместил расходы, понесенные академией.

После войны, когда не было уже в живых Ковача, Гулиа писал абхазскому правительству: «К-В. Ковач был душой музыкальной школы и музыкального училища... Я считаю, что было бы вполне справедливо, если бы музыкальная школа в Сухуми была названа его именем».

Теплый сентябрьский день 1939 года.

В постели лежит изможденный болезнью человек. Возле него хлопчет жена. В стороне стоит сын.

У больного потрескались губы от непрерывного жара. Его одолевает кашель, от которого он с трудом приходит в себя. Откашлявшись, больной падает на подушку и думает. В эти короткие минуты с лица его исчезает страдальческое выражение. Взгляд устремляется вперед, разглаживаются морщинки на лбу. И перед ним, словно в тумане, проплывают страницы еще не написанного музыкального сочинения. Ему уже чудятся звуки апхерцы, ведущей сольную партию в многоголосом звучании оркестра... Голова наполняется музыкальными звуками, а перед глазами чудесные картины абхазской осени: зеленой, солнечной, обильной плодами. Знакомые лица призрачной толпы окружают постель...

Больной пытается проанализировать свою недолгую жизнь (сорок лет исполняется 24 декабря). И она представляется крохотной.

Оживают в памяти годы детства: Севастополь, где он родился в семье музыканта... Учеба в гимназии и музыкальной школе... Лишения...

Мальчик проявляет незаурядные способности в музыке. Но трудно даже мечтать о консерватории. Он работает пианистом. Заработок скуден. Но это все-таки любимое искусство, и оно дает нечто большее, чем просто хлеб насущный, — наслаждение.

Юность омрачается первой мировой войной, а затем — война гражданская... В 1921 году он демобилизуется из рядов Красной Армии, в которой прослужил два года.

В 1925 году он переезжает в Сухум. И с первых же дней привлекают его мелодии абхазских песен. Они напоминают адыгейские и кабардинские, слышанные на Северном Кавказе. Он пытается поглубже вникнуть в народную песню, уловить самую ее сущность — мелодию. Какие только песни он не прослушал за короткий срок! Героические, свадебные, похоронные, шуточные, любовные... Он знакомится с народными инструментами: апхерцби, напоминающей скрипку, ахымаа, похожей на гусли, аюмаа — нечто вроде крошечной арфы, ачомгуром, абхазскими ударными инструментами и славной доисторической камышовой свирелью — ачарпаном.

Его тянет к песням и нотной бумаге. По вечерам он записывает абхазские мелодии.

В 1926 году проходит конкурс на лучшую запись абхазской народной песни. В этом соревновании ему, Константину Владимирову Ковачу, присуждается первая премия. А спустя год на выставке народного творчества в Москве, посвященной десятилетию Октября, Ковач получает Почетный отзыв Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, как первый собиратель абхазских народных песен.

Он записывает десятки мелодий и текстов. Перекладывает их то для фортепьяно, то для духовного и струнного оркестров. Много разъезжает по селам. Беседует с пастухами на горе Бамбей-Яшта, пьет с крестьянами кисленькую изабеллу у источников Ауадхары, охотится на перепелок под Гудаутами, ходит с учениками в пещеру Абрискила, часами просиживает в штольнях Ткуарчала. И что бы он ни делал, где бы ни бывал, словно губка, впитывает в себя звучание абхазской речи и абхазские песенные мелодии, изучает психологию горцев. Чтобы меньше смущать тех, чьи песни записывает, он облачается в черкеску. Вскоре черкеска становится его любимым одеянием, и с нею он уже не расстаётся.

Ему вспоминается образ неутомимого организатора и консультанта Кондрата Дзидзариа. Дзидзариа — этот знаток абхазского песенного

творчества— делал все, чтобы в самый короткий срок открыть Константину Владимировичу дорогу в мир песен, чтобы породнить его с очагом абхазского крестьянина, где песни зарождались и пелись. Неоспоримо одно: без помощи, без горячей поддержки Дзидзариа композитор не сделал бы и половины своей работы. Первым слушателем и первым советчиком его был Дзидзариа. Не одну песню записал Ковач с голоса друга.

Дзидзариа, один из старейших деятелей абхазской культуры, долгое время заведовал абхазской школой в Сухуме, из которой вышло большинство нынешней абхазской интеллигенции...

В начале 1930 года правительство Абхазии поручает Ковачу организацию музыкального училища в Сухуме. Много труда вкладывает композитор, чтобы поставить на ноги это учебное заведение. Ему же были обязаны своим существованием симфонический оркестр Абхазии, этнографический хор и струнный квартет. Ковач опубликовал записи абхазских песен. Сборники «Сто одна абхазская народная песня» и «Песни кодорских абхазцев» не вполне совершенны. Не в этом дело. В них навсегда сохранилось звучание абхазских песен. И не удивительно, что за короткий период после выхода сборников появилось свыше восьмидесяти различных музыкальных произведений, написанных на основе абхазских народных песен. Их авторы Власов и Фере, Иванов-Радкевич, Сулханишвили, Димитриади...

В 1933 году Ковачу присваивают звание заслуженного деятеля искусств Абхазии. Тем самым официально признаются его заслуги в развитии музыкальной культуры Абхазии.

А недуг все прогрессирует. Сухумский климат, надо отдать справедливость, сделал очень многое — приостановил болезнь на целые годы. Однако в конце концов наступает резкое ухудшение, вызванное неустанными трудами. Врачи советуют на время переехать в Крым. Но и «сухой» Крым оказывается бессильным.

И вот он умирает. Умирает в сознании, что делал нужное, полезное дело, которое будет оценено и теми, кто возьмет в свои руки дальнейшую заботу об абхазской музыкальной культуре... Умирает, отдавая себе отчет в том, что не совершил и половины того, на что был способен...

Его похоронили в Ялте.

Над ним вырос скромный земляной холмик. А в тех горах, где хаживал он с нотной тетрадью в руках, и до сих пор не забывают худощавого человека с мелкими чертами лица и добрыми глазами. Все громче звучат

его любимые песни. И вряд ли можно придумать более подходящий памятник для человека с горячим сердцем, каким был Константин Ковач.

Абхазское театральное искусство не стояло на месте. Уже действовал стационарный театр, вскоре организовалась театральная студия, работала группа при Театре Руставели в Тбилиси. Для театра писали пьесы Дзадз Дарсалиа, Мты Кове, несколько позднее — Владимир Агрба и, конечно же, наш Самсон Чанба. Путь абхазского искусства хорошо прослежен в книге Михаила Лакербай.

Дмитрий Гулиа — весь в науке. К этому его обязывает и пост председателя Академии языка и литературы. Он занимается вопросами грамматики и орфографии, подготавливает различные словари, составляет учебники для школ. «Материалы по абхазской грамматике» увидели свет в 1927 году. В 1930 году появляется «Терминологический словарь», а еще через три года — «Орфография абхазского языка». Абхазской этнографии посвящена его книжка «Культ козла у абхазцев».

Рассматривая абхазскую грамматику, Гулиа критикует некоторые места в книге Услара. И все-таки Услар остается для него большим авторитетом. Он пишет: «Ввиду огромного значения труда Услара — подходить к критике его надо с особой осторожностью...», «...труд Услара, как первый шаг в области абхазского языковедения, не мог обойтись без ошибок». Любопытно отметить, что, рассматривая глагол «а-пс-ра» — умирать, умереть, — Гулиа приходит к выводу, что некоторые глаголы в абхазском языке «образуют сотни и тысячи производных форм». Это было открытие. Многие лингвисты заинтересовались этим, и Гулиа довольно интенсивно переписывался с ними.

С грустью должен отметить, что в эти годы Гулиа мало пишет стихов и рассказов. Он целиком поглощен научными изысканиями, хотя они и не имеют особого успеха в абхазских официальных кругах. «Культ козла у абхазцев» подвергается здесь просто остракизму («Не лучше ли написать брошюру о том, как упаковывать мандарины?»). А Гулиа, будто назло, ожесточенно хватается за «суффиксы и инфиксы», готовит к печати пословицы, скороговорки, приметы о погоде, заговоры и наговоры. Как писал Гулиа о себе, «он разбрасывался в работе, берясь то за одно, то за другое».

А в это время в Москве и Ленинграде, Тифлисе и Ростове учатся молодые абхазцы, которые вскоре вернутся к себе на родину, чтобы стать в ряды строителей абхазской культуры.

В 1928 году у отца обнаружился сахарный диабет. Содержание сахара в крови было высоким. Мы стали всей семьей ездить на лето в Боржом и Ессентуки. От инъекций инсулина было решено воздержаться до поры до времени. По-видимому, это было ошибкой.

В 1929 году запомнились встречи в Боржоме с академиком Иваном Джавахишвили. С ним у отца, как я уже говорил, установились дружеские отношения еще в начале двадцатых годов.

— Это настоящий ученый, — говорил о нем отец и с улыбкой присовокуплял: — Он пишет не в соответствии с газетными заметками, которые быстро забываются, а в полном согласии с исторической правдой.

Джавахишвили был человеком интеллигентным в высоком смысле этого слова. Большая внутренняя культура сочеталась в нем с европейским образованием и широтой взглядов. Какая-то особенная чистоплотность поражала в нем: он словно был только что из ванны, только из парикмахерской, будто сию минуту отутюжен его костюм, а в кармане у него лежит дюжина великолепно отглаженных носовых платков.

Говорил он негромко, спокойно, на отличнейшем грузинском и русском языках. Слушая его русскую речь с особенно ясной дикцией и точным словосочетанием, нетрудно было догадаться, что это петербуржец. Глаза у него были большие, серые, усы коротко подстриженные и серые (пополам с сединой). Я как сейчас помню беседу под вишней. Она касалась некоторых аспектов абхазской истории.

Джавахишвили сказал, что считает список абхазских царей, приведенный в «Истории», наиболее полным и достоверным. Джавахишвили оговорился, что он этим вопросом специально не занимался, по ему казалось убедительным, что абхазские цари не Багратиды, как это канонически утверждалось, а, пожалуй, Ачба. Гулиа подчеркнул, что считает дальнейшую разработку некоторых вопросов периода абхазо-грузинского царства актуальной. Джавахишвили согласился. Он сказал, что не в том дело, кто кого поглотил или кто кого покорил, а в том, чтобы установить истину. А истина при всех обстоятельствах будет служить дружбе между двумя нашими народами. Живя в одном царстве и укрепляя это царство, наши предки не дрались же между собою. Они выступали единым фронтом против шахиншахов, например...

Гулиа заметил, что некоторые ученые пытаются замазать этот факт. Джавахишвили мягко перебил его:

— Дорогой Дмитрий, давайте будем искать и доискиваться правды и

только правды. И тогда нам не будет страшен никакой ученый фальсификатор.

Потом Елена Андреевна угощала нас малиновым вареньем и чаем. От ученого гостя веяло большой добротой и мягкостью. Он говорил ровно, этак чуть-чуть скашивая глаза и улыбаясь в усы. Он спросил меня, к чему я готовлюсь в жизни.

— Думаю поступить в политехнический институт, — ответил я, — но хотелось бы в Академию художеств.

— Нет, — сказал отец, — он должен быть путейцем.

Такое решительное заявление родителя поставило Джавахишвили в несколько стесненное положение. Мне кажется, что он хотел поддержать мою тягу к искусству.

— Ну что же, — сказал он тихо, — инженер-путеец — дело хорошее. Тем более что этого желает отец.

— И я! — отозвалась мать. — Я всю жизнь мечтала, что Жора мой будет путейцем.

(В общем так и случилось: мечта ее исполнилась. Но торжествовала мама недолго: через год работы на железной дороге я стал журналистом.)

Академик Джавахишвили скончался внезапно, перед началом войны. Он читал доклад, и у него подкосились ноги. Это была большая потеря для науки.

Рабочий день отца начинался в семь. Лежа он писал час или два. Потом завтракал и уходил «на службу». (Ему всегда везло: где бы он ни работал — машина ему не полагалась.) Вернувшись домой и пообедав, он ложился на час и снова садился за письменный стол. А в одиннадцать засыпал. (В этом смысле он был антиподом Марку Твену, который говорил: «Взял себе за правило ложиться, когда не оставалось собеседников, и вставать, когда вынуждали обстоятельства».) Развлечений для отца почти не существовало: устал писать — почитай книгу; устал читать — садись и пиши; с ног валишься — спи. Он словно хотел жить по закону Саят-Новыц «Так жить хочу, чтоб каждым днем обязан был я лишь себе... Чтоб всем сказать: своим добром обязан был я лишь себе...» Настойчивость и трудолюбие были его неизменными спутниками всю жизнь.

Я пытаюсь разобраться в его характере, И прихожу к выводу, что был он колюч, правдолюб и упорен в отстаивании своего взгляда. И должно быть, он очень презирал подхалимов. Мог поспорить с «вышестоящим» товарищем по любому поводу, если считал того неправым. Как-то случилось большой группе ответственных товарищей осматривать картину

художника, изобразившего партизанскую сходку в абхазском селе. Картина, по существу, являлась документальной. Так она и задумывалась. На просмотре случайно оказался Гулиа. (А может, и не случайно.) Началось обсуждение. Вроде бы картина хороша, но были претензии. Почти у всех.

— Я стоял левее, — сказал один.

— А я — правее, — заметил другой.

— Такой-то не похож.

— А у такого-то был башлык белый, а не серый.

Художник скис. Тогда взял слово Гулиа. Он говорил резко:

— Через десять лет люди позабудут, как выглядел каждый из вас и на какой щеке у кого красовалась родинка. А картина останется. Она будет изображать сильных и полных решимости драться людей. Придирки ваши неосновательны.

Я далек от мысли, что поведение поэта пришлось всем по вкусу. Возможно, резкость была излишней, но уж таков был характер его. Однажды, поссорившись с «начальством», он не служил два года. Это было в самом начале тридцатых годов. Мы с братом учились в Тифлисе. Нас надо было поддерживать материально, И отец продал половину дома (нижний этаж). Другого выхода не было.

К слову, этот дом доставлял сплошные огорчения. Начать с двадцатых годов. На вопрос представителя какой-то комиссии (кажется, по чистке соваппарата), имеется ли недвижимость, Гулиа отвечал:

— У меня имеется собственный дом о шести комнатах.

Это было равносильно суровому приговору. Может, так оно и было бы, если бы вслед за ним не выступил его сослуживец Федор Дмитриевич Авилов, знаток античной литературы. Он сказал, чеканя слова:

— Вы спрашиваете, есть ли у меня недвижимость? Отвечу вам: я мог бы выстроить три таких дома, как у Гулиа Дмитрия Иосифовича, и даже лучше. Ибо денег у меня было больше, чем у Гулиа. Но я все состояние потратил на путешествия. Жил я в свое удовольствие. Был в Италии, пил вина Франции, катался по Рейну и лазал по горам Скандинавии. И вот, товарищи, у меня нет собственного дома, и я сегодня в лучшем положении, чем Гулиа, последние гроши свои вложивший в жилье.

Это была блестящая речь в защиту Гулиа. И она произвела впечатление на комиссию. В общем Гулиа не заклеили как владельца недвижимого имущества. Мать наша говаривала:

— Твои товарищи, Дмитрий, домов не строили, горя не хлебали, в долги не влезали. И налогов не платят, но живут в хороших квартирах, им бесплатно даже стекла окопные вставляют. А ты? Думай о крыше, крась

двери и полы, подавай декларации в финотдел. Говорила же я тебе: не нужен дом!

Отец мрачно покачивал головой: разве женщина разбирается в таких вопросах? Свои гонорары он тратил на ремонт дома. В 1939 году расширил квартиру в сторону улицы, завершив, по существу, постройку, начатую еще в 1911 году. У нас не было приемной, и он страдал от этого («Не можем принять гостей по-настоящему»), Приемная, она же кабинет, получилась просторной, светлой. Однако отец мечтал о «виде на море». Третий этаж, несомненно, открыл бы чудесный вид. Эти мечты, высказанные вслух, сердили Елену Андреевну, которой наши финансовые возможности были известны лучше, чем кому-нибудь. Мы с братом всегда готовы были поддержать «строительную авантюру отца», как выражалась паша мать. И сестра Таня оказалась гораздо на всякие строительства. Таким образом, мать оставалась явно в меньшинстве. В 1957 году отцу отвели замечательный участок в Агудзере. Гулиа был стар, но душа не выдержала, и мы снова — в который раз! — пустились в строительные дела.

— У вас протекает крыша! — корила мать. — Лучше бы крышу починили!

— Мы построим дом по последней моде, — успокаивали мы.

Я начертил проект дома. Сестру «назначили» прорабом. Мне надо было возвращаться в Москву. Перед тем как отбыть восвояси, я написал лозунг: «Сдадим дачу родителям в срок!» Повесил лозунг у изголовья сестры — и улетел. На ее долю выпали огромные хлопоты. Константин Симонов пощучивал над Татьяной Дмитриевной: «Я считаю, что вы работаете в педагогическом институте не совсем по своей специальности. Я бы вас назначил руководителем крупной строительной организации». Дом был построен в несколько месяцев, и родители поселились в нем весной 1958 года. Одним словом, Гулиа обладал замечательным даром усложнять свою жизнь различными хлопотами. Он все время подумывал о том, что бы еще сделать. Может, мезонин в агудзерском доме?

— И ты будешь как на маяке, — говорила мать.

Жил он, почти не вылезая из долгов. Но кто, какой гость — ближний или дальний — мог заметить, глядя на стол, что хозяин в затруднительном денежном положении? Напротив, чем больше бывали долги, тем радушнее и щедрее принимали гостей. Я не знаю, действовала ли в этом случае знаменитая заповедь «Рука дающая не оскудеет». Скорее всего абхазское неисчерпаемое гостеприимство.

В 1935 году Дмитрий Гулиа издал, на мой взгляд, любопытную книжку

«Сухум не Диоскурия». Определенность заголовка не оставляет сомнений в направленности этого научного труда. К этому времени в Сухуме уже была почти полностью проложена канализация. Город перерыли вдоль и поперек на значительную глубину. Но, увы! — никаких остатков древнего исполина Диоскурии не обнаружили. Впервые отец затронул проблему Диоскурии в 1923 году. Тогда он выступил в Абхазском научном обществе с докладом об этой «черноморской столице» древности. Он решительно не соглашался с теми, кто говорил: «Диоскурия стояла здесь, на месте нынешнего Сухума». Что же служило доказательством? Они говорили: во-первых, бухта...

Гулиа отвечал им:

— Море энергично размывает берег. Это случается и на наших глазах. Это не доказательство.

Его оппоненты утверждали: если не здесь, то рядом, между устьями рек Басла и Килашур.

— Несостоятельный довод, — отвечал Гулиа. — Если уж говорить «рядом», то идите за Килашурскую стену и там ищите город. Эта стена могла защищать только великую Диоскурию.

В самом деле, Килашурская, или Великая Абхазская, стена (ее начало — у устья реки Килашур) уходит в горы, на север, затем поворачивает на юго-восток и снова спускается к морю недалеко от устья реки Ингур. Путь этой стены на местности был детально прослежен покойным Иосифом Адзинба, долгое время охранявшим исторические памятники Абхазии. Он говорил мне: «Стена проходит по стратегически важным местам. Через равные промежутки стоят башни. Она, несомненно, строилась для обороны чего-то, что находилось между стеной и морем». Вполне естественно, на мой взгляд, предположить, что Диоскурия находилась под защитой этой стены, если только стену возвели до рождения Христа. Профессор Грэн утверждал в разговоре со мной, что стена построена в пятом веке нашей эры и что она тянется до Дербента, рассекая Кавказ надвое.

— Разве для этого недостаточно было Кавказских гор? — спросил я. — Они же рассекают Кавказ совсем недурно. Лучшей линии обороны и не придумаешь.

Он меня не убедил. И я его тоже...

Ученые-географы древности измеряли путь до Диоскурии — скажем, от реки Фазис до Коракса (Фазис — Рион, а Коракс — Кодор). Гулиа убеждал, что расстояния эти не соответствуют местоположению Диоскурии на территории нынешнего Сухума. В своей книжке Гулиа относил Диоскурию к устью Кодора. Здесь и до сих пор есть местность Скурча (не производное ли от Скурии, Диоскурии?). Античные расстояния совпадают

именно со Скурчей...

Для точного решения вопроса явно недоставало «звона лопаты археолога». (На это замечание Гулиа недавно обратил внимание в своем очерке Евгений Осетров.)

Гулиа восклицал:

— Они ищут город в Абхазии, не поинтересовавшись, что говорит по этому поводу сам народ — абориген этой страны. Я не могу понять таких ученых!

В последние годы «лопата археолога» зазвучала довольно-таки основательно. Михаил Трапш ископал почти все окрестности Сухума. У него накопилось много любопытнейшего материала. Под его руководством легкие водолазы ныряли под воду в устье Баслы и обнаружили контуры кварталов подводного города, который прежде многие видели «сверху, в хорошую погоду» (по-видимому, Севастополиса). Решен ли вопрос о местонахождении Диоскурии, где, как утверждали древние, трудилось «до семидесяти толмачей»? (Это был большой культурный и торговый центр эллинов на Черноморском побережье, названный по имени двух близнецов Диоскуров.) Нет, не решен.

Но в заслугу Гулиа можно поставить ту страстность, с которой он поднял вопрос о Диоскурии. Он приковал к этой проблеме внимание многих ученых. И надо полагать, правильный ответ скоро найдется...

(О научных исследованиях Дмитрия Гулиа Семен Евгенов писал, что это «народная поэзия, обширные и своеобразные заготовки поэтического материала, которых хватит не одному поколению абхазских писателей».)

Академия абхазского языка и литературы в начале тридцатых годов была преобразована в Абхазский научно-исследовательский институт языка, истории и литературы. Несколько позже его возглавили молодые филологи Арсений Хашба и Виктор Кукба. Гулиа почти непрерывно сотрудничал в этом институте. Мы с братом учились в Тифлисе. Летом наезжали домой. Когда собиралась вся семья, отец знакомил пас с новыми произведениями, планами, делился воспоминаниями о прошлом. Отец смотрел на нас как на равных ему. Но и спрос был жесткий — никаких скидок на возраст! Наше легкомыслие часто возмущало его. Он хмурил брови, скашивал на нас глаза и говорил:

— Попомните мои слова: все, что не доделаете или не успеете сделать сейчас, выйдет вам боком. Вы читаете мало. А почему? Неужели думаете, что восполните пробел когда-нибудь позже? Не заблуждайтесь, этого не будет! Вас ждут другие заботы...

В те годы он писал роман «Камачич». Он излагал нам задуманные

главы так подробно, что оставалось стенографировать и сдавать в печать. При газете «Апсны Капш» выходил журнал того же названия. В нем были опубликованы первые главы «Камачич». Константин Симонов пишет об этом произведении: «Роман «Камачич» Д. Гулиа закончил в 1937 году, когда ему перевалило за шестьдесят. Создавая свою книгу, Гулиа заглядывал уже в сравнительно далекое прошлое. Но это прошлое неотступно стояло перед его глазами...

Мне, например, когда я читал «Камачич», все время казалось, что Дмитрий Гулиа не только автор повествования, но и незримый участник событий. В романе нет ни одного персонажа, за которым можно прямо подразумевать личность автора. И в то же время на многих страницах испытываешь ощущение его физического присутствия...

Гулиа умел заставить полюбить своих земляков, изображенных в романе, нисколько не идеализируя при этом их жизнь и быт с его патриархальными нелепостями и связывающими людей по рукам и ногам обычаями. Именно поэтому, при всем романтическом устремлении книги, она так достоверна».

Примерно в те же годы, когда создавался «Каманин», писал рассказы и романы прозаик Иван Папаскир. Этот серьезный, вдумчивый писатель сделал многое для развития абхазской прозы. Его романы «Темыр» и «Женская честь» переведены на русский язык. (Александр Дроздов писал о «Темыре»: «Роман в острой сюжетной манере, с резким и сложным развитием фабулы, что свойственно таким рассказам И. Папаскира, как «Каруальское ружье»... Стремительно бегущий сюжет не мешает тем не менее и психологическому раскрытию образа».) Словом, круг литераторов расширялся. Ощущалась нужда в писательской организации. (В конце двадцатых годов была организована Абхазская ассоциация пролетарских писателей. Дмитрий Гулиа не был удостоен ее членства, по-видимому, в полном соответствии с полу-сектантским характером этой организации.) В 1934 году Гулиа стал членом Союза советских писателей. Однако инерция была все еще живуча: Гулиа не привлекли к работе Абхазского оргкомитета, которым руководил демобилизованный кавалерист из абхазского эскадрона (его прошлое было безоблачным: за ним не числилось ни перевода евангелия, ни азбуки, ни стихов). Любопытно отметить, что Гулиа не попал на Первый съезд советских писателей. Его попросту не включили в состав делегации. К счастью, его литературная деятельность не регламентировалась теми, кто составлял список делегации. Ершистый характер, видимо, сослужил Гулиа неважную службу. На многих официальных собраниях официальные ораторы в то время честили его

всякими нелестными словами, третировали как «националистически настроенного интеллигента», «критиковали» его научные труды, которые, дескать, «не помогают крестьянину сажать табак» или «не учат, как надо мандарины упаковывать». Эти безответственные и демагогические речи исходили, к счастью, из очень тесного круга малокультурных и малосведущих людей. Хоть Гулиа и страдал от всего этого, но уважение, которым он был окружен, очевидно, обуздывало страсти некоторых товарищей, не видевших или не желавших видеть культурные успехи собственного народа.

В 1934 году был издан «Сборник избранных произведений» Дмитрия Гулиа. Эта книга как бы подытожила его многолетнюю литературную работу. По ней можно было видеть и легко определить самое главное в его творчестве: поддержку всего нового! В том же году вышла книжка веселых песенок Гулиа, которые исполнялись крестьянами на всеабхазском народном гулянье в селе Лыхны 1 Мая 1934 года. Одновременно он занимается переводами с русского, грузинского, украинского, осетинского.

В первой половине тридцатых годов на небе абхазской литературы загорелись еще две звезды: Леварсан Квициния и Леонтий Лабахуа. Если до конца следовать этому образу, то смело можно сказать, что это были звезды первой величины. К такому заключению неизбежно придет любой исследователь их творчества. Но ни один, ни другой не смог завершить своего труда, они погибли: первый — на войне, второй — дома, как жертва 1937 года. Шалва Инал-ипа пишет: «Замечательному абхазскому поэту Л. Квициния принадлежит большое количество стихов и... поэмы «Шаризан» (1933 г.) и «Даур» (1936 г.)». Квициния родился в селе Атара, недалеко от Очемчир, в 1911 году. Я познакомился с ним, когда ему было года двадцать два. Он был скромным человеком. Рыжеватый, с голубыми глазами. Мало говорил, больше писал. Однако когда дело доходило до стихов, в нем пробуждалось дотоле, казалось, дремавшая страстность, голос обретал звучание металла, руки сжимались в кулаки. И тогда каждому становилось ясно, что перед ним поэт божией милостью. Из крестьянского парнишки Квициния превратился в образованного человека с широким кругозором. Он учился в Москве, в Литературном институте. Окончив его, работал в Сухуме, а позже был избран руководителем Союза писателей Абхазии.

Он, пожалуй, первым ввел в абхазскую поэзию точные размеры ритма и строгую рифму, рядом с которой ассонансы, даже более или менее четкие, казались несовершенным приближением к идеалу. Он был до крайности трудолюбив и не скоро выпускал из рук новые стихи — долго

шлифовал их, выверял на слух.

Он женился в 1939 году, а сына своего впервые увидел на далекой западной границе нашего государства — в Белоруссии: Квициния служил в армии в Цехановце. На рассвете 22 июня 1941 года он, возможно, был одним из первых, кто услышал раскаты войны. По-видимому, в тот же день и погиб.

Встречаясь с Квициния, мы часто делились с ним мыслями о судьбе Лабахуа. Никто не понимал, что случилось. Официально объяснили, что Лабахуа, будучи преподавателем, якобы ухаживал за одной из учениц.

— Но за это не сажают, — говорил Квициния. — К тому же он женился на ней.

Имя Лабахуа старательно отовсюду вычеркивалось.

Позже прошел слух, что Лабахуа непочтительно отзывался об очередном абхазском алфавите. Было ясно: вопрос об алфавите оказался чрезмерно острым.

Отец был в горе, ибо каждый поэт был в сердце его. И потерять одного — значило потерять частицу самого себя. Неспроста сказано Джоном Донном: «Ни один человек не есть **остров**, целостный сам по себе: каждый человек есть часть **континента**...» Что касается Гулиа — он был неотрывной частью своего народа и отлично знал, по ком звонил колокол, ежели он звонил...

Лабахуа оставил немного произведений. Рукописи были сожжены его перепуганным насмерть родственником — общие тетради, числом не менее пяти. Баграт Шинкуба рассказывает, что Лабахуа обещал почитать новые лирические стихи. «Скоро вы услышите обо мне, — говорил он. — Вы поймете, что значит абхазская лирика».

Я часто вглядываюсь в фотографию поэта, которая, к сожалению, не дает о нем ровно никакого представления. Лабахуа не достиг в то время той славы, когда художники пытаются запечатлеть образ знаменитого человека.

Поэт живет в своих стихах, подобно тому как живописец — в картинах или композитор — в музыке. Но стихи Леонтия Лабахуа, написанные на сочном абхазском языке, подчас не поддающемся поэтическому переводу, тоже не раскрывают полностью внутреннего мира их автора: он ушел из жизни слишком рано, и у него все было впереди.

Я не думаю, что эти несколько строк способны восполнить теперь уже непоправимые пробелы. Однако я не простил бы себе молчаливого обращения к его памяти. Вот случай, когда необходимо высказать вслух все, что ты думал о нем и продолжаешь думать и поныне, когда поэта нет

уже среди нас. Человек, однажды согревший свое сердце возле пламени поэтического дара Лабахуа, не имеет права не сказать о нем хотя бы несколько слов.

Я знал его мало. Но я знал достаточно, чтобы понять, какая большая творческая сила нарождалась в бурной натуре поэта. В истинном и огромном таланте Леонтия Лабахуа нет и не может быть никаких сомнений. И он не нуждается в литературной тризне. Некролог даже оскорбил бы его память. Ведь кто он, в сущности, сейчас? Молодой певец, не успевший спеть своих лучших песен? И это тем более трагично, что за чертою его оборвавшегося пути мы без труда угадываем певца, обладавшего всеми возможностями, чтобы стать большим мастером большой советской литературы.

Первое, что неотразимо привлекало к себе в его внешности, — это большие серые, с голубизною глаза и руки скрипача — настоящие кисти Паганини.

Когда он читал свои стихи, руки его все время маячили перед вами. Красочным широким жестом он как бы помогал оттенить поэтические акценты. С удивительной певучестью выговаривал он свистящие и шипящие абхазские слова. Его большой пухлый рот свидетельствовал о добром нраве.

Лабахуа родился в декабре 1911 года в абхазском селе Рёка. Росту он был выше среднего и, как истый горец, был тонок и гибок станом. Я его никогда не видел танцующим, но на сельских праздниках он наверняка произвел бы впечатление, особенно на девушек.

Я уже говорил о его глазах. Это были глаза большие, с доверием и любопытством глядевшие на окружающих. В его взгляде вы никогда не прочли бы задней мысли. Они были бесхитростными и выражали только то, что рождалось в данную минуту в его молодом сердце. А сердце его, в полном смысле этого слова, было молодым, непосредственным в своем восприятии окружающего мира. В короткие мгновения его душа вспыхивала подчас гневным огоньком и тут же успокаивалась. И в эти секунды его пухлые губы начинали вздрагивать, чтобы произнести слова извинения. Это был настоящий поэт, который умеет не только в образной форме выразить свою мысль, но и остро почувствовать то, что другие или вовсе не воспринимали, или воспринимали с некоторым опозданием.

Я не знаю, любил ли он и был ли любим. Думаю, что да. Повторяю, что знал его все-таки мало, а горец обычно не афиширует своих чувств. Но была у него одна привязанность и настоящая, большая любовь, которую он не только не скрывал, но всячески подчеркивал: любовь к своему народу и

маленькому краю.

— Я люблю свой язык, — пылко говорил он однажды на Сухумском бульваре, — люблю потому, что на нем мне легче петь свои песни, слагать стихи о наших горах, о партии, этой могучей вершине, о нашем добром народе. Вот почему я думаю, что ног ничего равного этой земле — моему краю, — хотя, наверное, есть много красивых и ничем ему не уступающих мест.

Эти слова звучат в моих ушах и сейчас.

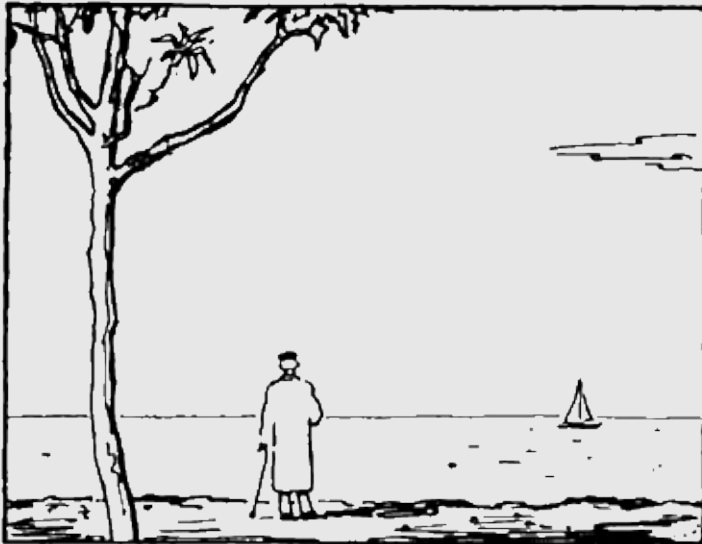
...Дмитрий Гулиа писал: «За время литературной деятельности у меня были памятные встречи с А. Толстым, А. Фадеевым, А. Исаакиным, В. Шишковым, М. Рыльским, П. Тычиной, М. Джавахишвили, Г. Табидзе, Н. Тихоновым, К. Фединым и многими другими». О них отец всегда говорил неизменно тепло. Одну из таких встреч я сам наблюдал.

Летом 1936 года Фадеев отдыхал в Сухуме. Он писал роман «Последний из Удэге». Фадеев рассказывал, что Союз писателей работает не очень-то хорошо, особенно неудовлетворительно руководство «толстыми» журналами. Он вынашивал различные планы и мысли, которые собирался изложить в обширной записке. Фадеев походил на легкоатлета, приехавшего в Сухум на тренировку.

Отец пригласил его на семейное торжество: женился мой брат Владимир и впервые появился у нас вместе с женой. Гостей собралось много. Толумбашем отец назначил своего брата Ивана. Но вскоре выказал недовольство его «деятельностью». Разгорелся спор. Фадеев принял горячее участие в этом споре и часто потом вспоминал о нем. Речь шла о том, за кого раньше пить: за брата, который явился виновником торжества, или за меня, как старшего из сыновей, что очень важно с точки зрения абхазского застолья. Отец настаивал на последнем.

Фадеев пел протяжные донские песни. И пел, надо сказать, с большим чувством.

Фадеев познакомился с некоторыми произведениями абхазских писателей на русском языке и высказал свое мнение о них на собрании литераторов. 9 апреля 1936 года в «Советской Абхазии» появилась заметка об этом. (В ней, между прочим, было сказано: «В «Альманахе» помещен и ряд хороших очерков. К ним тов. Ал. Фадеев относит «Три школы» Д. Гулиа...»)



В тысяча девятьсот тридцать шестом году исполнилось сорокапятилетие творческой деятельности Гулиа. Правительство Абхазии создало солидную юбилейную комиссию. Нестор Лакоба на сессии Центрального Исполнительного Комитета Абхазии говорил: «До революции в Абхазии был только один писатель абхазец — Д. И. Гулиа. Сейчас мы имеем целую организацию писателей...»

Первого писателя собиралась чествовать вся республика.

Хотя юбилейная комиссия была создана, но настроение было далеко не юбилейное. Начались необоснованные репрессии, готовились судебные процессы. Из членов юбилейной комиссии мало кто остался в живых. Руководство в Абхазии обновлялось несколько раз...

И все-таки юбилей состоялся. Его отпраздновали в Государственном театре Абхазии. Сердечность торжества захватывала каждого, кто присутствовал на нем. Абхазские газеты посвятили передовые статьи и целые полосы этому событию. Михаил Делба, выступавший докладчиком, сказал: «Сорокапятилетний юбилей литературного творчества нашего любимого поэта Дмитрия Гулиа — основоположника абхазской литературы — есть подлинный народный праздник...» Огромное количество телеграмм

со всех концов Советского Союза свидетельствовало не только о славе Гулиа, но и о том, что абхазская литература пробивала дорогу к всесоюзному читателю. Все ли абхазские литераторы понимали это? Не знаю. Трудно отвечать за всех. Кажется, большинство понимало. После торжественного заседания ужинали не чуреком и чесноком, как когда-то, а по-настоящему: правительство Абхазии организовало большой прием, и у нас дома тоже звенели бокалы и мать удивляла гостей пряностями абхазской кухни. Много веселились. Отец вопреки болезни нарушал жесткую диету. Самсон Чанба в качестве руководителя абхазской писательской организации принимал в юбилее самое деятельное участие. Большую радость доставило отцу приветствие грузинских ученых — старых друзей во главе с Иваном Джавахишвили. Они прислали «неутомимому деятелю научного изучения абхазского языка и истории Абхазии приветы и лучшие пожелания». Слов нет, прекрасно прошел юбилей. Но на душе оставалась тяжесть: по всей стране шли аресты. И никто толком не понимал, в чем дело. Впрочем, вся пресса клеймила «врагов народа» и «убийц». Каждый, кто попадал под арест, немедленно «вызывал» на себя «великий гнев народа» как шпион и убийца.

Самсон Чанба в те дни часто хаживал к нам. Как раз напротив нашего дома помещался табачный склад, где он вел в рабочем кружке беседы о текущей политике и новой Конституции. У нас он коротал время, пил чай и шел затем на занятия.

— Самсон, — спросил как-то отец, — что происходит на белом свете? Что случилось? Откуда столько убийц и шпионов?

Чанба пожал плечами.

— Дмитрий, можешь уважить мою просьбу?

— Могу.

— Не говори об этом вслух. Пощади нашу литературу, подумай о детях.

Отец возмущался:

— Ничего не понимаю! Неужели и спросить опасно?

Чанба поглядел на него своими грустными глазами и коротко ответил:

— Да.

Отец задумался. Долго молчал, вспоминая годы, когда Чанба яростно выступал против царизма и меньшевиков, против князей и фабрикантов. В Народном Совете Чанба был одним из тех, кто в ярких речах громил эксплуататоров. Чанба писал в «Апсны» статьи, пропагандировавшие большевистские идеи. Он тогда казался бесстрашным. Нынче он выглядел поблекшим и растерянным. Искренне не понимал происходящего. И

повторял:

— Наверно, так надо. Сталину виднее.

Взяв под мышки брошюры, шел на склад, где проводил обстоятельную беседу, наполненную любовью к советской власти, доверием к партии, в которой состоял много лет, и к «карательным органам, разоблачавшим злейших врагов народа».

Чанба от природы был мягок, был рожден поэтом и не подозревал, что идет на голгофу. Его арестовали, как и многих. Об этом мы узнали в Союзе писателей, где состоялось собрание. Писатели задним числом «заклеймили подлую деятельность Чанба». А дома у нас был траур. Мы понимали, что тот, кто попадал «туда», не возвратится назад. Это все равно, что пропутешествовать на тот свет... Отец достал книжку Чанба «Сейдык». На титульном листе имелась надпись, сделанная рукою автора: «Нашему учителю по литературному творчеству Д. И. Гулиа». Поглядел на нее увлажненным взглядом и спрятал поглубже в ящик стола.

Молодая абхазская литература вновь понесла огромный урон. Кто же его восполнит? Гулиа порой казалось, что рушился дом, строительству которого он отдал жизнь.

Брат Елены Андреевны, некогда ушедший в армию ради пары сапог, был обвинен во всех смертных грехах и погиб.

К середине 1938 года репрессии вроде бы поутихли. Отец заканчивал перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Мы дали друг другу слово не поддаваться горю и работать, работать, работать во имя памяти погибших друзей. А в глубине души все-таки теплилась надежда: рано или поздно справедливость восторжествует. Не бывает же иначе на земле!

Наблюдая в то время отца за работой, более зрело осмысливая творческий процесс, я не мог не удивляться его титанической энергии. И тысячу раз прав Николай Тихонов, когда пишет: «Дмитрий Гулиа — неутомимость и вдохновение...»

Сахарный диабет значительно подорвал его здоровье. По-видимому, происходили какие-то необратимые изменения в печени. С этим была связана жестокая ахилия (отсутствие кислотности в желудке). Отец похудел, но до поры до времени не принимал инсулина. Тем не менее работал как вол. Распорядок дня его не изменился: от семи утра до семи вечера — за письменным столом, а потом книги, беседы и про; чее. К переводу Руставели он отнесся с чувством огромной ответственности и любви, как, впрочем, ко всему в литературном деле.

Древняя поэма Руставели написана чудесным стихом — с большущей

смысловой нагрузкой и потрясающим звучанием. Она вся пронизана афористическими выражениями. Кажется, Вольтеру приписывают парадоксальные слова о том, что «Данте обеспечено бессмертие, ибо его уже никто не читает». Что же до Руставели, писавшего восемь веков назад, о нем этого не скажешь. Пожалуй, нет в Грузии более живого и близкого народу поэта, чем Руставели. Я бы даже сказал так: он не менее современен, чем здравствующие поэты. (Надеюсь, не обидятся мои грузинские друзья.)

Когда поэма была полностью переведена, абхазцы, без преувеличения можно сказать, изумились. Язык, ритм, точность рифмовки были столь близки к оригиналу и в то же время каждая строка звучала столь по-абхазски, что поэма в целом воспринималась как создание оригинальное. Это был вклад не только в литературу. Абхазский перевод содействовал дальнейшему, более тесному культурному общению с грузинским народом.

В то время я уже оставил железную дорогу и сотрудничал в газетах, а потом меня перевели в Управление по делам искусств Абхазии. В общем начальствовал. Я был уже автором повестей «На скате» и «Месть» и «Рассказов у костра». Все они были написаны под влиянием Гулиа и посвящались прошлому Абхазии. Мне до сих пор кажется, что отец довольно-таки скептически относился к моим литературным занятиям.

— Литература — дело ненадежное, — говорил он.

— А почему же им занялся ты? — спрашивал я.

— Тогда я был неопытен — ошибся.

Он очень советовал заниматься живописью и графикой.

— Так зачем же ты настаивал, чтобы я сделался инженером? — спрашивал я недоуменно.

— Потому что искусство — тоже не самое главное.

— А что же главное?

Отец затянулся папиросой и сказал:

— Собственный путь. Нечего подражать отцу. Дело нехитрое — сынка вытягивать за уши. Вот ты — инженер; поработал на дороге, тебя потянуло в печать. Это я понимаю. У тебя своя голова на плечах. Выбирай что по душе. В литературу, если есть талант, не опоздаешь. Вспомни О'Генри. Вот тут надо занять кое-что. — И он указал на спину. — Горб должен вырасти от трудов, от забот. Хуже всего, когда он вырастает только на литературной почве.

И все-таки внимательно читал мои вещи. Делал замечания, предлагал более точные заголовки. Его смущала цветистость моих образов и

сравнений. Я пытался возражать: дескать, самое главное в современном письме — яркость образа.

— Яркость — да, но не крикливость. Поживешь с мое, — говорил он, — и ты поймешь, что это вещи разные. Чем проще пишется — тем труднее писателю и лучше для читателя.

Я оперировал примером имажинистов, цитировал Есенина. Но это его не убеждало. Он любил Есенина, я это знал. Однако внушительно сказал:

— Ты хочешь подражать? Тогда лучше бросай перо и берись за что-нибудь другое.

Это меня и огорчало и обижало. Но как раз это и входило, кажется, в намерения отца. И он говорил словно о ком-то другом:

— Обиделся один поэт на критику. Бросил писать. Умолк. А потом поступил в милицию. Теперь носит револьвер. Счастлив сверх меры. А ведь был поэтом и — мучился. Я сказал ему при встрече: «Вы молодец, взялись за хорошую работу». Он улыбнулся во весь рот. Нет, настоящий поэт не побоится ругани. Поэта настоящего не свернешь с пути!

Это, как видно, предназначалось для меня. Он добавил:

— Надо тщательно проверить, имеется ли призвание к литературе. Что-нибудь написать всегда можно. Однако только ради этого не стоит бросаться в литературу.

Много лет спустя в статье «О поэзии и поэтах» Гулиа писал: «Нельзя стать поэтом, если в душе нет поэтической искорки. Искру всегда можно раздуть в большой огонь, но если ее нет, то не будет и огня. Это старая истина, но, мне кажется, у нас иногда забывают о ней. Почти любого можно выучить строить дома, но нельзя из любого сделать поэта...»

В общем я был обескуражен. Что же получается? За четыре с лишним года я стал инженером, мог строить мосты и прокладывать железнодорожный путь. Я писал стихи с восьми лет, с семнадцати — прозу, издал две книжечки, напечатал повесть в газете. И выходит, неизвестно, есть ли во мне эта самая «искорка». Отец к нам, своим детям, был весьма требователен. Похвалой не баловал. Я это знал. И тем не менее было очень обидно. Хотелось получить благословение в литературу. Отец же с этим медлил...

— Надо много читать, — наставлял он. — Но как? Это не просто так — взял и прочитал. Ничего подобного! Ты же хочешь быть писателем — тогда изволь читать, как мастер мастера. Вот ты покупаешь ботинки или туфли. Надел, понравились — купил. А сапожник, напротив, долго будет присматриваться к обуви, угадывая, как сидит она да из какого материала.

В цитированной чуть выше статье, продолжая эту свою мысль, он

писал: «Читать других поэтов, учиться у других поэтов — не значит рабски подражать им. Эта мысль тоже не нова, все как будто знают ее, и все же часто бывает, что поэт копирует чужую манеру письма, не пытаясь развить и отточить собственный стиль».

Весною 1936 года абхазский театр поставил спектакль «1866 год». Одним из авторов был я. Пьеса рассказывала о восстании крестьян в селе Лыхны (недалеко от Гудауты). Мне не терпелось узнать мнение отца. Он сказал:

— Хороший спектакль. Публика принимала хорошо. Но стоит ли писать пьесы для того, чтобы проиллюстрировать историю? История мертва. И если писатель оживляет ее, то только ради волнующих вопросов современности. А иначе — зачем? И пьеса и спектакль, к сожалению, иллюстративны.

Это был удар, что называется, «под вздох». Словом, я понял, что рано еще думать о писательской профессионализации. Надо жить, надо работать на том посту, на котором работаешь, учиться литературному мастерству, а там видно будет.

Летом 1938 года мои родители лечились в Ессентуках. Лечился, разумеется, отец, а Елене Андреевне болеть не полагалось. Она вертелась день-деньской как юла. Гулиа ворчал. Он утверждал, что «старая малярия пробуждается на Минеральных Водах». В самом деле, в Ессентуках его довольно часто лихорадило. Одно время даже пытались лечить его хинином. Сейчас мне кажется, что в приступах «лихорадки» была повинна печень. Отдыхая и лечя свой недуг, Гулиа не переставал работать: приводил в порядок «Абхазскую орфографию» и «Абхазский орфографический словарь». А «на досуге» писал «Короткие рассказы».

Из Ессентуков Гулиа пропутешествовал в Киев, где ему хотелось познакомиться с шевченковскими местами, его стихи он переводил. В Киев приехали в конце лета 1938 года, и, по словам Гулиа, такого удовольствия, как там, он нигде не получал. Украинские друзья встретили народного поэта Абхазии с огромным радушием. Поэту было неловко от внимания, которое ему оказывалось. Московские «Известия» писали: «...Старейший абхазский поэт Гулиа на Украине знакомится с шевченковскими материалами перед тем, как приступить к переводу Шевченко на абхазский язык». Особенно волнующим было плавание в Канев и торжественное возложение венков на могилу Шевченко. Елена Андреевна рассказывала нам:

— Надо было видеть вашего отца у могилы Тараса. Он долго стоял с

непокрытой головой. Мне казалось, что он что-то шепчет. Можно было подумать — молитву. Или, вернее, клятву. Отец стоял ровно, слегка наклоня голову. Когда я спросила потом, что шептал, — он не ответил. Но позже, без всякого-с моей стороны повода, сказал: «Постоишь вот так перед его могилой, подумаешь о нем, поговоришь с ним его же стихами — и становишься сильнее...»

Из Киева Гулиа направился в Ленинград. А по возвращении в Сухуми (с конца 1936 года так стал именоваться Сухум) отец «отчитался» перед семьей: рассказывал смешные эпизоды, приключившиеся в дороге, хвалил Киев, расписывал Ленинград.

— Ты бывал в Петропавловской крепости? — обратился он ко мне.

— Да.

— А ты знаешь, что за все время ее существования, то есть около двухсот лет, в казематах сидело... Как ты думаешь, сколько сидело арестантов?

Я, признаться, не представлял этого. Ну, видимо, многие десятки тысяч...

— Называю точную цифру: две тысячи сто шестнадцать человек. Это примерно десять несчастных на год.

Он нахмурился и замолчал. Побарабанил пальцами по столу. А потом заговорил словно сам с собою:

— Там же, в Петербурге, жил подлец Булгарин. В литераторах числился. А сам шпионил. Это было сто с лишним лет назад. В Ленинграде и сейчас плюются при этом имени. И не только ленинградцы, а и вся русская интеллигенция не может без гадливости произносить это имя. Потому что литература и подлость несовместимы.

Он резко встал и прошелся несколько раз по комнате из конца в конец.

— Прочти-ка, — сказал он, — Хайяма. Про ложь... Как это?

И я напомнил:

— «А здесь и ложь на волосок от правды и жизнь твоя сама на волоске».

— Да, да, да! — подтвердил он и пошел на веранду, чтобы покормить воробьев, а заодно и поговорить с ними. Они понимали друг друга отлично, и отец хвастал столь дружескими отношениями... Раз воробьев пошел кормить — значит, не в духе.

— Что с ним? — спросил я мать.

Она пожала плечами.

— Он часто расстраивается.

...Весною 1941 года отец с матерью были в Москве. И мать с тревогой сказала мне, что один профессор, осматривавший отца в Москве, обронил фразу:

— Посоветуйтесь в Киеве с Губер-Грицем. Если не будет войны. Говорят, все-таки будет. Как вы думаете, это правда?

Да, это все-таки случилось. Большая война стала фактом. Мой брат Володя, инженер-автомобилист, был призван в армию года за два до того. Он оставил в Тбилиси жену и крохотного сына Нурбея. Службу проходил на советско-германской демаркационной линии, в местечке Бережаны. Там и застала его война... Мы получили от брата два письма, затем передали нам письмо одного товарища, в котором описывалось мужество Володи. И на этом все кончилось...

Отец и мать были морально и физически травмированы. Пропал сон. Пропало душевное равновесие. Мать плакала тайком от нас. Все эти годы...

Перед самой войной, в 1941 году, к Дмитрию Гулиа явился круглолицый, большеглазый, коренастый мальчик. Назвался Алексеем Ласуриа. Он принес поэту свои стихи — факт сам по себе незначительный, поскольку к Гулиа молодые поэты «ходили табуном». «Ласково и приветливо встретил меня убежденный сединами народный поэт». Впрочем, и в этом ничего особенного. Гулиа многих встречал ласково и приветливо. Самое любопытное заключалось в том, что говорил Гулиа после — после того, как ушел от него Ласуриа.

Мы все встречались только за обедом (завтракали и ужинали в разное время). Поэтому к обеду отец приберегал новости.

— Плюньте, — сказал он, — чтобы не сглазить. Кажется, появляется новый поэт. Причем настоящий. С собственным голосом.

Прогноз оказался верным. (Должен заметить, что Гулиа редко ошибался в людях.) Первые же стихи Ласуриа обратили на себя внимание читателей. Молодой поэт поступил в педагогический институт. А после войны учился в Московском литературном институте. Он был любимцем студентов. Добрый — душа нараспашку, — он мог отдать другу последнюю рубашку, последний рубль. Это был поэт милостию божьей. Отец внимательно следил за его творчеством.

Гулиа чувствовал себя неважно. Худел, бледнел, зловещий зеленоватый оттенок появился на лбу.

Все сильнее пылал военный пожар. Враг торопился в глубь нашей страны. Было что-то непонятное в этом дьявольском наступлении. Мы были приготовлены совсем к другому: воевать только на чужой территории, побеждать только малой кровью! А дело обстояло совсем наоборот: воевали на собственной территории, терпели поражение большой кровью. Все это никак не укладывалось в голове. Казалось, снится кошмарный сон и вот наступит утро и все переменится: нельзя же, невозможно же отступить без конца!

Мать с грустью вспоминала слова казака, командира Красной Армии, сказанные в 1921 году в селе Адзюбжа.

— Скоро ли кончится война? — спросила его мать.

— Война? — ответил казак, улыбаясь. — Сказать ли правду, Елена Андреевна? Вот видите своих детей? Им по восьми, по семи лет. А им еще воевать придется. И их сыновьям тоже. Вот что вам скажу!

Слова эти оказались вещими. С тех пор, казалось, идет единая, ни на день не прекращающаяся война. Тревоги, тревоги, тревоги... И наконец, эта ужасная бойня...

— Закончится эта... — говорила мать. — Неужели еще будет война?

Отец ее успокаивал:

— После этой долго не будет войны.

В 1942 году война подступила совсем близко к Абхазии. Дивизия «Эдельвейс» рвалась к морю через все перевалы и перевальчики. Меня официально предупредили, что Гулиа лучше всего выехать в деревню: ожидалась бомбежка города. Отец наотрез отказался: где все, там и он. И матери никуда ехать не хотелось. Мои увещевания оказались тщетными.

Однажды августовский день был взбудоражен гулом самолетов, летящих довольно низко. И вдруг разорвались бомбы: одна, другая, третья. Целая серия бомб. Было три часа дня.

— Это по киевскому расписанию, — сказал один морской офицер. — Ждите их теперь в девятнадцать...

И действительно, ровно в семь полетели на город новые бомбы. Погибли дети, старики. Были разрушены жилые дома. Город мгновенно опустел: люди уходили в ближайшие горы и селения.

Я приехал домой поздно вечером и застал родителей во дворе. В доме стекла были выбиты, кое-где обвалилась штукатурка.

— Я их видел, — сказал отец. — Они с черными крестами.

Я в тот же вечер отвез своих в село Тамш. Крестьяне приняли нас радушно. (Племянница Гулиа — Ольга Алания — взялась выращивать кукурузу для всей семьи. Она это делала всю войну.) Утром я был снова в

Сухуми. Наша машина попала под бомбежку. Отлежавшись на тротуаре, пока не был закончен пулеметный обстрел, я поехал на работу.

Любовь и Федор Плющ пишут о тех днях «тамшской эвакуации»: «Почти каждый день к Гулиа приходили люди. Эти люди были разных профессий и возрастов — колхозники из соседних сел, учителя, молодежь. Они приходили к нему за советом, а иногда просто чтобы выразить любовь и уважение своему поэту, стихи которого жили в народе, как песни».

Отец готовил к печати «Короткие рассказы», писал стихи и статьи на злобу дня. Болел и работал. Сестра Таня училась в Тбилиси. С родителями оставались маленькие ребята: племянники Елены Андреевны Петр и Павел. Поэт был в привычной с детства обстановке, встречался с крестьянами. Если в первую мировую войну многие из абхазцев стремились на фронт, то можно вообразить себе, каково было желание разбить Гитлера. Одним из первых героев войны стал офицер Владимир Харазиа. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. До последнего снаряда отстреливалась батарея Харазиа, прикрывая наши отступающие части. Его единоборство с немецкими танками было столь удивительным, что о его подвиге узнала вся страна. Легендарная слава пошла и о замечательном абхазском асе Киазыме Агрба (он погиб где-то в Венгрии). В Севастополе, в Брянских лесах, в степях Украины и на Ленинградском фронте воевали абхазцы, приумножая славу советского народа. С оружием в руках сражались и абхазские писатели Киазым Агумаа, Степан Кучбериа, Михаил Гочуа, Михаил Лакербай, Алексей Джонуа, Сандро Сангулиа, Чичико Джонуа и другие. Все они вели себя так, как и подобает воину. Под Ростовом погибла Александра Надзадзапха, поведшая на штурм высоты роту пехотинцев. Ей и Владимиру Харазиа Гулиа посвятил песни, которые и сейчас поются в народе. В небе на легком ночном бомбардировщике летала Мэри Авидзба.

Словом, абхазский народ, как и все в то время, делал общее дело на фронте и в тылу.

(В те годы я вырезал на дереве гравюры Владимира Харазиа и Алексея Аршба, защитника Севастополя, сделал несколько оформлений для театра, написал пьесу «Дорога на перевал», которая шла в абхазском, грузинском и русском театрах Абхазии.)

В 1943 году было решено отпраздновать пятидесятилетие творческой деятельности Дмитрия Гулиа. К тому времени он издал книгу «Короткие рассказы». Юбилей, несмотря на военное время, получился торжественным и теплым. Газеты посвятили этому событию обширные статьи.

А что такое «Короткие рассказы»?

Во-первых, это действительно короткие рассказы. На полстранички, от силы на страницу. Во-вторых, они не выдуманы. Это маленькие были, прочно отложившиеся в памяти писателя и выдержавшие испытание временем. Есть у них еще одна особенность: почти все они смешные. Это свидетельства о неистребимом народном юморе, жизнедеятельном и живучем. Юмор этот — защитное средство от любой беды. Берусь утверждать, и это совершенно очевидно для тех, кто прочтет «Короткие рассказы», что по художественным достоинствам они никак не ниже лучших европейских фацевей, и уж, во всяком случае, здесь имя Гулия можно поставить где-то рядом со всемирно известным Поджо Браччолини. Это маленькие шедевры — по жизненной правде, по языку и яркости смешного. Глубоко национальные по существу, они перерастают национальные границы.

Рассказы, как я уже говорил, взяты из жизни, их герои подчас названы настоящими именами. Многие из рассказов переведены на русский язык, и с ними легко познакомиться. На абхазском языке звучат они неподражаемо. И не все нюансы поддаются переводу. Леонид Ленч, по-моему, сумел донести до русского читателя прелесть оригинала. Это подвигнуло и меня испробовать свои силы. Кроме всего прочего, перевод доставил мне большое, я бы сказал, спортивное удовольствие: пришлось поднапрячь все умение, чтобы, не отходя от текста, сохранить юмор Гулия.

Издав «Короткие рассказы» (им предпослан дружеский шарж, исполненный мною), Гулия принялся за давно задуманную пьесу.

Он говорил как-то:

— Ничего дурного не хочу сказать о наших абхазских пьесах. Но мне кажется, что они не очень утомляют зрителя психологизмом. Сложные характеры как бы чужды им. Ты скажешь, что не блещут этим и многие современные русские пьесы. Возможно. Но я говорю сейчас о наших. И вот я решил написать пьесу, которая, может быть, откроет некоторые стороны абхазского характера. Я не могу сказать, что очарован Ибсеном. Обобщенность и даже грубая зримость Шекспира мне ближе и милей. Нужна нам тонкость, нужны люди такие, как они есть. Каждый человек — это целая фабрика и черт знает что еще! А мы пишем и показываем героев на сцене или танцующими от радости, или бесстрашно мстящими, или изнывающими в горе. Середины обычно не бывает.

Он развивал мысль в том духе, что нужна большая правдивость, нужны нюансы. Не надо все усложнять преднамеренно. Нет, надо научиться писать более точно.

Театральное искусство чертовски сложно. И в то же время, кажется, достаточно примитивно. Если поднатужится более или менее опытный литератор, читавший Еврипида, Софокла, Шекспира и Островского, то непременно создаст пьесу. Он не может ее не создать. Это будет пьеса хотя бы по формальным признакам: будут действующие лица, будут акты и картины. Будет начало и, надо полагать, развязка. Но, берясь за драматургическое дело, надо отдавать себе отчет в том, что нельзя слишком поступаться уровнем мастерства. Например, нельзя писать много хуже, чем написана «Свадьба Кречинского», чем «Мораль пани Дульской» и так далее. Должно быть запрещено писать хуже. Представьте себе конструктора, который изобретет сейчас самолет вроде «фармана» или «блерио», а тем более самолет Можайского или братьев Райт. Да такого изобретателя засмеют! Но если драматург сварганит какую-нибудь пьеску, ее иногда ставят на сцене. Мы стесняемся указать такому драматургу на дверь. В этом большая беда.

Отец в тридцатых годах пытался инсценировать свой рассказ «Под чужим небом». Потратил немало времени, а потом забросил... Новая пьеса, которую собирался писать, по существу, была бы его первой пьесой. Теоретические посылки были совершенно верными. Так мне думается. Оставалось ждать, что получится в итоге. Пьеса должна была рассказать о прошлом. Форма, избранная автором, являлась классической, с характерными элементами: единством времени, единством места, действия. Такое самоограничение Гулиа считал необходимым, чтобы дать пример именно такого рода.

Вскоре после войны Гулиа закончил пьесу и прочитал нам. Называлась она «Призраки». Действие происходило в горах, в доме зажиточного крестьянина, охваченного духом стяжательства. Хухут Бгажба и Корнелий Зелинский пишут о ней следующее: «Если в романе «Камачич» у Д. Гулиа порой берут верх поэт и этнограф-исследователь, то в драме «Призраки» Д. Гулиа выступает уже как социальный психолог. В какой-то мере это различие объясняется различием самого материала. В драме «Призраки» выведен на сцену один из первых дореволюционных абхазских интеллигентов».

«Герои пьесы ведут между собой философские разговоры о назначении человека, о смысле жизни, о счастье, о роли денег и т. п...»

«С театром Горького и Чехова пьесу «Призраки» роднит прежде всего присущий ей пафос человечности и разума, протест против обезличивающей человека жестокой власти денег, стяжательства...»

«Действующие лица — это характеры... Все это живые люди, со своим

языком, мыслями...»

«Этой своей пьесой, всей вереницей образов, проходящих перед нами, Д. Гулиа сказал продуманное и уверенное «нет» тому строю, который приходил на смену патриархально-родовым отношениям и традициям и который так уродовал и опустошал душу человека».

Эти цитаты избавляют меня от необходимости комментировать пьесу. В Сухуми в то время существовал русский театр, и отец предложил мне перевести пьесу на русский. Я это сделал в некоторой спешке. Тот перевод, который вошел в «Избранное» Гулиа на русском языке, принадлежит Александре Татаровой (Дроздовой).

Отец с волнением готовился к читке пьесы коллективу абхазского театра. Я, признаться, не понимал его, был совершенно убежден, что пьесу встретят восторженно. Ведь это же счастье для театра — приобрести пьесу, которая по своим качествам стоит на уровне мирового (именно мирового) драматургического искусства. Отец качал головой.

Я приготовился возразить.

— Выслушай меня. То, что я предложу завтра, несколько отличается от того, к чему театр привык. Зритель наш тоже воспитан особо — на тех же самых пьесах, что и актеры. Необычность всегда настораживает. Вот чего я боюсь.

Однако я держался противоположного мнения. Разве актеры, которых я знаю и люблю, не понимают, что значит отличная пьеса? Например, блестящий Отелло — Касландзиа или великолепный Яго — Пачалиа?

— В ней нет танцев, — серьезно сказал отец.

— При чем здесь танцы? А характеры героев?

— И мало стрельбы...

— А этот поэт, который возвращается домой, чтобы умереть, но снова бежит из дому? Это же великолепный образ!

— И всего лишь одна декорация...

Я развел руками.

— В таком случае я завтра же распишусь в том, что ничего не смыслю в пьесах.

На следующее утро мы пришли в театр. Вся труппа в сборе. И вот пьеса прочитана. Кто же берет первое слово? Кто хочет сказать первое слово?

Молчание. Минута молчания — еще куда ни шло, но две, три, четыре... Это уж слишком! И вот, наконец, кто-то начинает свое слово издали... Очень хороший язык... Несомненно... В финале все более или менее разъясняется... Это тоже хорошо... Есть песня и гитара. Прекрасно!..

Кажется, пьеса немного статична...

Отец смотрит на меня. И я читаю в его глазах:

«Ну, что я говорил? Мало беготни, мало плясок и стрельбы!...»

Далее:

— Мало действия в пьесе. Вернее, действие есть... Но скованно как-то все. А наш зритель темпераментный. Поймет ли он?

— А вы-то сами поняли? — в упор спрашивает Гулиа.

— Если говорить откровенно, Дмитрий Иосифович, я не все понял. И это все из-за медленного...

Гулиа перебивает его:

— Нет, не потому! Я думаю, что мы сами не знаем точно, чего хотим.

— И он сердито стучит карандашом по столу.

Некоторые актеры искренне стараются рассеять впечатление, произведенное на автора выступлением первого оратора. Следующие высказывания доброжелательны. Нет, пьеса хорошая, просто не привыкли к такой. Вот и все!

Однако восторгов что-то не слышно. Разговор носит светский благопристойный характер. Гулиа чувствует это. И раздражается.

Пьеса все же принимается. Включается в репертуар. Но не более. Ставятся какие-то пьесы с выкриками, ахами и охами. А «Призраков» все еще не видно.

— Что я говорил? — спрашивает меня отец. — Мне уж лучше знать их вкусы.

Я с ним не согласен. Справедливости ради следует сказать, что большинство в труппе поняло пьесу...

— Да разве так принимают новое произведение?

Я старался убедить его, что все обстоит хорошо. Не поймут сейчас — разберутся позже. А хулители всегда найдутся.

...Премьера «Призраков» состоялась. Спектакль в общем имел успех, но далеко не шумный. Спустя несколько лет его сыграли молодые актеры, окончившие студию при Театре имени Руставели в Тбилиси. И зритель ахнул: перед ним во всей глубине раскрылись сочные образы, никого не оставляющие равнодушными. Это же закон! Чтобы зритель понял пьесу и взволновался до глубины души, то же самое должно случиться с актерами. Только значительно раньше...

Эпизод, с которым не могу не познакомить вас, произошел в Крыму. Наш писатель, известный больше как переводчик, Михаил Гочуа проявил себя величайшим поэтом и героем. Кровью своей написал чудесную поэму,

своей «смертью живот даровав».

У желтой дороги — разрушенный дом. Стропила торчат во все стороны, словно перебитые ребра огромного животного. Домашний скраб разбросан по земле. Под ногами хрустит мелко разбитая стеклянная посуда. Вся земля вокруг насколько хватает глаз вспахана и перепахана снарядами и бомбами, как бы вывернута наизнанку. Она дымит, мелкими частицами возносится к небу. И холмы, которые тянутся вдалеке громадным полукругом, тоже дымят: пыль клубами витает над ними.

В воздухе и на земле несмолкаемый гул. И от гула того, кажется, вздрагивает вселенная. Повсюду смерть и разрушение. И только в груди обгорелого металла мелькает что-то живое. Это маленькая ромашка с трудом вытягивает тоненький стан из-под гусениц танка. Должно быть, слегка примяло ее. Удивительно, огонь, пожравший стальное чудовище, пощадил ромашку! Только лепестки окрасились в серый цвет, ясная прожелть потускнела. И все же ромашка жила! Каким же чудом она уцелела? И эту ромашку — жалкую и даже немного смешную — заметил абхазский поэт Михаил Гочуа, искавший жизнь в разрушенном мире и боровшийся за жизнь без разрушений. Его друзья — горсточка смелых моряков — полегли среди обломков. Остался Гочуа один, совсем один! Глаза офицера морской пехоты никуда не глядят: все проплывает мимо, словно в дымке. И только ромашка... Она маячит перед ним одна, одна в целом свете... Она такая же, как и те, что растут в Абхазии, только там они краше, сочнее. А эта — севастопольская, исстрадавшаяся. И Михаил Гочуа — поэт по призванию — задумывается над ее судьбой. Ему за тридцать. Не мало, но и не много. А морщин — на все шестьдесят: попробуй-ка побывай в аду!

Севастополь — как на ладони. Измолот, словно жерновами. Но он все живет еще, двужильный он. Последний подводный корабль ожидает тех, кто на берегу. Уйдет он под воду, и только волна заплещет на поверхности... Еще не поздно: Гочуа может успеть, только надо поторопиться!..

Побывал нынче Гочуа в зубах у самой смерти, да крепок, видно, — выжил. Только волосы обожгло в военной переделке.

— Абхазец не пропадет! — любил он говорить.

И не пропал.

Гочуа — поэт, поэт по призванию. Но только сейчас понимает, как мало сделал, а мог бы гораздо больше. Переводя на абхазский язык «Фуэнте овехуну» великого испанца, он впервые почувствовал, что

способен на подвиги не только поэтические. Война закалила его, и, ежели вернется домой жив-невредим, станет настоящим поэтом. Он любил Есенина. Из абхазцев чаще всего читал Иуа Когониа. Своих стихов почти не печатал, а только носил в нагрудном кармане.

Вражеские танки идут вперед, все вперед. Путь свободен — и они торопятся.

Одинокó стоит офицер морской пехоты на невиданном от века побоище. А танки все ближе...

За крутым поворотом дороги — танки. До них буквально два шага. Стальные гусеницы крошат камни, грозятся подмять под себя все живое...

Офицер уходит с дороги, припадает к груде железа.

Головной танк громыхает всего в нескольких метрах. Поднялся тогда Гочуа, сжимая в руках гранату крепче пера. И все смешалось в раскатах взрыва: и танк, и офицер, и ромашка.

Нет, он не ушел с места.

Он не отступил.

Он был таким же честным и здесь, на поле боя, каким был и в своей жизни и в своем творчестве, будь то за письменным столом в Абхазском государственном издательстве или дома. И смертью смерть поправал...

Он любил говорить:

— Не пропадет абхазец!

А разве пропал он?

Казалось, что с окончанием войны канут безвозвратно в прошлое все несправедливости, хотя бы отдаленно напоминающие призраки 1937 года. Но не тут-то было! Еще не окончилась война — она шумела на западных границах нашей страны, — а уж репрессии обрушились на целые народы. Берия наносил удар за ударом по своим, по советским людям...

Отец в начале сорок четвертого года ездил в Москву. Его вызвали для того, чтобы утвердить перевод нового гимна на абхазский язык. Сопровождала отца в этой поездке Елена Андреевна. Ехали кружным путем — через Баку и далее.

На обратном пути их поезд задержался на одной из станций Северо-Кавказской железной дороги. И тут они увидели невообразимое: длиннющий железнодорожный состав из теплушек битком набит людьми, напоминающими кавказских горцев. Их везли куда-то на восток, с

женщинами, детьми, стариками. Очень грустные, убитые горем. Отец, разумеется, попытался выяснить, кто эти люди и куда направляются. Ответ был потрясающий: это чеченцы и ингуши, а едут они не по доброй воле. Их выселяют. Они совершили «тягчайшие преступления» перед Родиной...

— И эти дети? — вырвалось у Гулиа.

— Дети едут с родителями...

— А старики и старухи?

— Со своими детьми.

— Это вроде виновного населения, стало быть. Но я этого термина не слышал вот уж лет шестьдесят...

Значит, выселяют почти миллион! В чем все-таки их вина? Об этом нигде не писалось, не говорилось. Это было худшим повторением тридцать седьмого года. Гулиа смотрел в окно, и слезы выступали на его глазах.

Донеслись вести о том, что выселены также и калмыки. Потом сообщили, что «поехали» на восток балкарцы. Потом крымские татары. Выселение, невзирая ни на военные, ни на гражданские заслуги, невзирая на возраст и убеждения. Все это было делом рук бериевцев.

Гулиа писал в журнале «Знамя»: «Я не могу не высказать своей огромной радости по поводу исправления той несправедливости, которая была допущена в свое время на Северном Кавказе и в других районах. Например, недавнее восстановление Калмыцкой республики я воспринял как свой собственный праздник». Величайшее дело совершила наша партия, вернув несправедливо обиженных людей на свои места. Тем самым было исправлено положение, пятнавшее нашу честь и святая святых нашей партии — ленинскую национальную политику. Слава богу, что отец дожил до этого дня!

Незадолго до смерти Гулиа попросил меня достать книгу Плутарха и показал мне место, где сказано о Перикле следующее: «...славнейшей заслугой своей он считал то, что, занимая такой высокий пост, он никогда не давал воли ни зависти, ни гневу и не смотрел ни на кого как на непримиримого врага». И еще слова самого Перикла: «Ни один афинский гражданин из-за меня не надел черного плаща».

— Напиши рассказ о Перикле, — сказал мне отец.

(Я обещал и выполнил свое обещание совсем недавно.)

Отец побарабанил пальцами по столу и произнес по-абхазски слова из евангелия:

— Не думайте, что я пришел нарушить закон... Не думайте, что я пришел нарушить закон.... — А потом сказал: — Нет, ты напиши рассказ о Перикле...

В конце 1945 года я оставил работу в Управлении по делам искусств. И ради чего? Ради все той же литературы.

— Что же ты будешь теперь делать? — спросил меня отец.

— Заниматься литературой.

— А точнее?

— Писать рассказы.

— Та-ак... А где их печатать? Я видел твои рассказы — они о прошлой жизни. Есть среди них любопытные. Дает ли это тебе основание быть профессионалом?

Я об этом, признаться, и не думал. Отец явно не одобрял моего поступка. Он не представлял себе, что я буду делать. Сам отец, пожалуй, никогда не был стопроцентным профессионалом в литературе: у него всегда бывала еще какая-нибудь «служба».

— Буду, — сказал я, — писать очерки для газет.

Это ему пришлось по душе. Это, дескать, другой табак.

— Тебе придется много поездить.

— Да, наверное.

— По деревням. Иногда по грязи шлепать.

— Разумеется.

— Иногда и похолодать придется.

— Не без этого.

— Ну что ж, — сказал отец, — поглядим. Только приготовься к синякам и шишкам. Кто это сказал, что если боишься дождя — не выходи в литературный путь? Анатолий Франс?

И я пустился по селам, по горам и долам. Писал малюсенькие заметки и подвальные статьи, рецензии и репортерские зарисовки. Делал все, что положено журналисту. Весной 1947 года как-то под звуки радиолы я единым духом продиктовал стенографистке повесть. Через неделю начал переписывать ее от руки и отдал машинистке. Свежие листы читали отец и сестра, а по вечерам — Елена Андреевна. Наконец печатание было закончено, и отец пробежал последнюю страницу.

За обедом я увидел бутылку вина и коньяк.

— За твою повесть! — сказал отец. Я понял, что не будет ее ругать. Сестра была в восторге, мать присоединилась к ней. (Это очень приятно, когда домашние хвалят тебя, — новые силы вливаются. Иначе нет смысла им читать.)

Отец продолжал:

— Ты назвал ее «Люди в Сакене». А между тем это о весне. О людях и

весне. За «Весну в Сакене»!

Новое название мне понравилось, и я тут же зачеркнул старое. Мне кажется, что домашние не очень-то льстили: повесть имела успех. С рукописью познакомился Константин Симонов, без проволочек напечатал в «Новом мире», который он редактировал. С той поры завязалась наша дружба.

В 1946 году закрылись абхазские школы. Тысячи педагогов остались безработными. Им пришлось спешно переквалифицироваться, чтобы не умереть с голоду. К этой акции приспешники Берия готовились еще с 1944–1945 годов. Это именовалось «реорганизацией абхазских школ». И делалось это черное дело, разумеется, для «пользы абхазской культуры». Все абхазские газеты, как по команде, разразились статьями о сталинской дружбе народов, о «подъеме национальной культуры» и так далее. Это уж было слишком. Гулиа не выдержал. Слег. Слабел с каждым днем, и мы ничем не могли помочь.

— Ради чего я жил? — повторял он.

Что же делать?

Горячие головы, написавшие жалобы в Москву, вдруг исчезли: интеллигенции объяснили, что они умерли от «разрыва сердца». И сразу стало «спокойно». Но дело этим не кончилось. Травма была слишком серьезна. Поэт Баграт Шинкуба поехал в Москву. В шапке, словно кочубеевский гонец, он вез бумагу, в которой излагались безобразия, существующие в Абхазии. Это было, скажем прямо, небезопасно для ее авторов: Константина Шакрыла, Георгия Дзидзариа и Шинкуба. Результаты жалобы были равны нулю. Однако эти трое были оставлены в живых. Все же прочие неудобства им пришлось пережить: они фактически были преданы ostracismu, их сторонились, как прокаженных.

Отцу становилось все хуже и хуже. Сказывались треволнения и возраст, отягощенный болезнями. Врачи выбивались из сил. Особенно плохо стало в 1948 году. Хирурги поставили страшный диагноз: скир желудка, иными словами — злокачественная опухоль. Мы приготовились к худшему, но не сдавались... Самоотверженный уход Елены Андреевны сделал свое: отец встал, оправился от болезни, набрался сил. И с какой-то особой энергией взялся за стихи. Он приобрел машину, стал ездить за город. И даже помолодел... (Скира, к счастью, не оказалось.)

Позже Гулиа писал о школах, клеймя антипартийную политику бериевцев: «Эта политика привела к неслыханно грязному делу: в 1946 году были закрыты абхазские школы». Только после смерти Сталина и эта

несправедливость была исправлена: абхазская школа живет и здравствует!

Послевоенная абхазская литература все ширилась. Появились новые имена. Развернулись таланты таких поэтов, как Баграт Шинкуба, Алексей Ласуриа, Иван Тарба. Активно действовал в литературной критике и литературоведении Шалва Инал-ипа.

Дмитрий Гулиа по-прежнему «служил» в Абхазском институте языка, истории и литературы (ныне этот институт носит его имя). Много внимания уделял составлению учебников по абхазскому языку, беседовал с молодыми писателями, в качестве депутата ездил к своим избирателям в Тамш, Кутол и другие села. (С 1938 года Гулиа являлся бессменным членом Президиума Верховного Совета Абхазии.) Шалва Инал-ипа отмечает: «Несмотря на свой преклонный возраст, он писал новые и новые поэтические, прозаические и публицистические произведения...»

Это верно. Словно пытаюсь уйти от тревожных чувств и мрачных мыслей, он пишет много, но многое и уничтожает, как малохудожественное. Его стихи переводятся на русский язык и все чаще появляются в московских газетах. Александр Дроздов писал в то время: «Среди многих литературных и научных трудов Дмитрия Гулиа есть составленный им «Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок». В нем я нашел такое речение, записанное из уст народа: «Этот человек идет по большой дороге». Слова эти хочется применить к жизни поэта».

Но Гулиа ждали новые испытания.

Как видно, наступление на абхазские школы не было каким-то изолированным актом, но частью какого-то обширного плана бериевцев. Очевидно, хотели нанести удар по историческому, национальному самосознанию абхазского народа. А укреплению и росту этого самосознания способствовала, несомненно, «История Абхазии». Вернулись к ней. Ее стали ругать, что называется, последними словами. В смысле научных аргументов было не шибко густо, но не в этом заключалось дело. (Нелишне отметить, что после событий 1937 года из руководящих органов Абхазии были удалены почти все абхазцы. Единицы либо не шли в расчет, либо были бессильны что-либо предпринять. В Абхазии это называлось «правильным подбором кадров».) Созрел коварный план: предложить Гулиа самому раскритиковать свою книгу, отказаться от нее, заявить, что нет такого народа, как абхазский! Были разысканы какие-то цитаты, из которых можно было заключить, что ассимиляция для малых наций — сущий рай. Эти цитаты зачитывались активистам.

Отец, разумеется, немедленно отверг это предложение, сделанное

сначала в осторожной форме, через третьих лиц. Со временем «просьбы» эти стали более настойчивыми, ему давали понять, что в таком выступлении заинтересованы «большие люди». Гулиа не сдавался. Тогда был пущен в ход шантаж, о котором даже и вспоминать омерзительно. Гулиа снова слег. Фарисейское внимание к его здоровью скорее походило на желание удостовериться, действительно ли он так тяжело болен. Но сомнений быть не могло.

Я тогда работал в Москве и был осведомлен о позиции отца в этом вопросе. С моей стороны было полное одобрение. Я говорил отцу по телефону всякие слова, которые понимали только мы.

— Мне плохо, — жаловался он.

— Что, сердце болит? — спрашивал я.

— Да.

— Лечись, все будет хорошо!

Но мы не знали, как глубоко все это зашло: за Гулиа сочинили книжку. Затем срочно ее издали и разослали всем научным учреждениям Советского Союза. Однако Земля все-таки вертится и справедливость торжествует. Настал день, когда Гулиа смог поднять голос против этой позорной фальсификации, которая была наименована «О моей книге «История Абхазии». Гулиа писал: «Книга это не моя... она грубо сфальсифицирована от начала до конца». Решением соответствующих организаций брошюра была изъята из обращения в библиотеках.

Михаил Делба пишет по этому поводу: «Автор настоящей статьи считает необходимым здесь заявить, что при всем глубоком уважении к литературной деятельности Д. И. Гулиа он допустил по отношению к нему в свое время ошибку. Мне пришлось настоять, против желания Д. И. Гулиа, на выпуске брошюры «О моей книге «История Абхазии»... Брошюра была действительно издана от имени Д. И. Гулиа, хотя и была написана не им». Чтобы покончить с этим неприятным воспоминанием, хочу ещё раз сослаться на Делба. Он пишет: «К этому необычному шагу меня вынудила вся обстановка того времени, когда грозовые тучи собирались не только над головою отдельных людей, но и целых народов. Я совсем не был уверен, что одна из таких туч не сгущается над головою нашего народного поэта. Более того: она неумолимо надвигалась. Без учета всего этого мои действия того времени едва ли будут поняты верно». Это, несомненно, важное заявление бывшего председателя абхазского правительства.

Так провалилась очередная вылазка против абхазского народа. И тем не менее не все хорошо, что хорошо кончается. Вполне можно было обойтись без всего этого...

Последнее десятилетие жизни поэта, отягощенное болезнями, из которых самой страшной, по словам Гулиа, была старость, посвящается целиком стихам и раздумьям о поэзии, литературе вообще. Поэт увидел свою маленькую страну возвращенной в лоно справедливости. Абхазские школы работают, распеваются абхазские песни, звучит на собраниях абхазская речь.

Славным был юбилей, посвященный восьмидесятилетию поэта. Квинтэссенцию его можно передать стихами Фазиля Искандера: «Ты от подножия эпохи до вершины прошел с народом. И твои морщины — географическая карта края, где петь умеют даже умирая». Отца еще раз награждают орденом, абхазские крестьяне избирают его своим депутатом в Верховный Совет СССР. И на этом посту депутата он развивает энергичную деятельность. Добивается возобновления выхода литературного журнала, названного им «Алашара», что значит «Светоч», ратует за издание детского журнала «Амцабз», что значит «Пламя». Вот он хлопочет о квартирах для молодых писателей или об автомашинах для крестьянских хозяйств... Поэт пишет всевозможные ходатайства о невинно пострадавших в прошлом, добивается посылки студентов на учебу в Москву, кого-то обеспечивает деньгами на дорогу, кому-то шлет утешительное письмо, кого-то ободряет, периодически ездит в Москву на заседания в Кремле. «В каждый свой приезд в Москву, — пишет Всеволод Шевцов в «Вечерней Москве» от 17 апреля 1953 года, — Гулиа хочет как можно больше увидеть, побывать в театрах, концертных залах столицы, поездить по Москве».

Лев Гольдинов писал: «Совсем недавно 80-летний поэт порадовал читателей новым циклом лирических стихов». И Гольдинов даже переложил эту мысль в стихи: «В поэзию и в жизнь влюблен, и с новой книгой на примете — живым примером служит он и в творчестве и в долголетье». В «Литературной газете» Эмиль Кроткий под дружеским шаржем на поэта ставит свое двустишие: «Вот — старый (?) Гулиа... о нет, он молод, молод с давних лет!» Ираклий Абашидзе восклицает: «А как работает замечательный поэт, патриарх абхазской литературы Д. Гулиа!»

Много пишет Дмитрий Гулиа и для детей. Его стихи, переведенные Самуилом Маршаком, были хорошо встречены литературной Москвой. Маршак, делаясь своими впечатлениями от стихов абхазского поэта, говорил о том, «с какой внутренней свободой, с какой причудливостью, с каким умением смотреть вокруг» пишет Гулиа. Цикл стихов «В нашей деревне» и «Лето в горах» может служить образцом живой абхазской классики для детей. Максимальная простота изложения тесно переплетается с высокой

образностью и философическими обобщениями. Стихи проникнуты огромной сердечностью и любовью к человеку. Вот одно из них, «Про солнце»: «С неба смотрит солнце миллионы лет. Льет на землю солнце и тепло и свет. Но посветит солнце и уходит прочь, а живое сердце греет день и ночь. Значит, сердце лучше солнца самого. Никакие тучи не затмят его!» Баграт Шинкуба подчеркивает: «Родоначальник абхазской литературы, народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа, хотя и намного старше своих собратьев по перу, но творчество его по-молодому свежо». (Внешний портрет поэта тех времен Кумф Ломиа передает так: «Размерен шаг. Тверда рука. Орлиный взор остер». А Иван Бауков пишет: «Дверь в кабинет открывается, входит мужчина бойкий, худой, небольшого роста. Пряди волос хрустальные...») Кажется, воспарил орел, отдохавший на скалах. Гулиа читал свои стихи молодым абхазским коллегам и с волнением ждал их оценки. Это юношеская поэтическая статья жила в нем до конца его дней. Он как бы заново переживал все волнения молодости. Отослав стихи в газету, беспокойно справлялся:

— Очень хочется знать: напечатают или нет?

Его успокаивали:

Напечатают.

— А может, не понравятся?

Он брал телефонную трубку и слушал сообщение из редакции:

— Стихи хорошие. Печатаем.

Гулиа облегченно вздыхал и спрашивал, нет ли каких-либо замечаний. Оказывается, есть: одно слово хотелось бы заменить другим.

— Вы так решили?

— Мы обсуждали долго, — отвечали в трубке.

— Тогда согласен. Но вы подумайте: времени достаточно.

А наутро раздавался звонок. Товарищи из редакции просили извинить за беспокойство: слово в стихах восстановлено, оно все-таки лучше, а замены так и не нашлось. Отец улыбался в усы и благодарил... И, радостно потирая руки, говорил нам:

— Стихи приняты без единой поправки. Сказали, что напечатают.

Он волновался каждый раз, когда речь шла о печатании новой вещи, волновался, как юнец. Острота этого чувства была, на мой взгляд, лучшим отражением его поэтического самочувствия и литературного здоровья.

Старый поэт работал не один. Его окружала целая когорта молодых людей, заявивших о себе полным голосом и признанных народом. Это уже была литература в подлинном смысле этого слова — со своими боевыми задачами и страстями, с творческими успехами и неудачами. (Роберт

Бикмухаметов пишет: «Задачи, которые ставил Д. Гулиа перед своей литературой и перед самим собой, большие и почетные. Это задачи развитой литературы. А такой стала абхазская литература за считанные годы». Гулиа внимательно следил за печатью, и каждое свежее слово наполняло его душу ликованием...

— Хочу видеть Алешу, — говорил он часто о Ласуриа.

Когда являлся молодой поэт, Гулиа отечески выговаривал ему:

— Не зашел, обманул. А давно обещал.

Ласуриа, эпикурец и жизнелюб, легко поддававшийся бурному течению молодой поэтической среды, начинал извиняться. Искупить вину мог только в одном случае: прочитав свои новые стихи. Он их читал нараспев, выделяя смысловые ударения, подчеркивая главное. В нем горело сердце поэта и гражданина. Именно эта гражданственность, честность, непримиримость ко всему застывшему не только в литературе, но и в жизни и восхищали его старого друга. (Только что мне попались на глаза очень верные слова Генриха Бёлля: «Главное, чтобы писатель писал честно. Не жульничал».) Не слогу или голосу, не красивому словосочетанию или внешнему блеску рифмы отдавал предпочтение Гулиа, а главному в поэзии — пафосу борьбы, пафосу жизнеутверждения, борьбе за самую жизнь во всех ее многообразных проявлениях. Он писал: «Никто не станет спорить о том, хорошо или плохо поет соловей. Но кому придет в голову называть его песни поэзией? Подлинная поэзия начинается там, где торжествует и волнует наше сознание мысль, облеченная в прекрасную форму».

Всю жизнь он стоял именно на этой и только на этой эстетической позиции. Приоритет «мысли, облеченной в прекрасную форму», был его идеалом, которому он поклонялся всю свою творческую деятельность.

Слушая переводы своих стихов, он говорил порой:

— Этот перевод плох. Слишком гладок. А читать мои стихи и ни разу «не споткнуться» — нельзя. Я пишу не для красоты.

Или:

— Этот перевод мне нравится. Он какой-то шероховатый. Словно дикий гранит. А полированная плоскость стекла не в моем духе.

Часто горячился и тогда, жестикулируя, говорил:

— Стихи ради стихов?! Да кому они нужны? Чтобы сверкнуть, подобно искре, и погаснуть? Стихи должны быть как солнце: и свет давать и жизнь! Без этого поэзию — к чертям! Без этого литературу — к чертям! Маяковский говорил, что он ассенизатор. Многие его стихи не по мне. Но в данном случае он прав: ассенизатор важнее, чем канарейка!..

Садился в кресло и размышлял, перебирая имена абхазских

литераторов. Его сугубо интересовали нравственные, гражданские качества писателя.

— Этот умеет писать, — говорил он, к примеру, — его книги пополняют библиотеки. Но он словно котенок в жизни: слова от него не дождешься в трудную минуту. Нужна помощь школе — молчит. Нужна помощь писателям — молчит. Нужна помощь газете — молчит. И на том спасибо! Хорошо, что не гадит, а сидит себе и построчно рубли зарабатывает.

Буйного Ласуриа отец особенно любил за откровенность: не нравится что — скажет, нравится — тоже не смолчит.

— Алеша — наша гордость, — говаривал отец, — вот кто будет великим!

Была у Ласуриа слабость — любил выпить. Пил от веселья и с горя, пил с друзьями, если выходила книга, пил, если она задерживалась. В эти минуты он бывал буйным и шокировал благопристойных и благонамеренных мужей, умеющих пить под сурдинку, дома, взаперти, вдалеке от людского глаза. Ласуриа же и единственную бутылку выносил к друзьям и задавал незатейливый пир. Обыватель говаривал: это от излишка средств. А у Ласуриа в кармане ни гроша. И вообще, рассуждал обыватель, писатели обеспечены, и пьют они от безделья. Между тем Ласуриа работал сутками «без выходных» и «без отпусков» — на свой собственный риск и страх, как все писатели мира «ныне и присно и во веки веков». Гулиа писал: «Мне, к сожалению, приходилось слышать, что писатели, дескать, слишком обеспечены и поэтому они пьянствуют. Что можно сказать на это (а сказать хочется)? Не надо путать несколько растленных личностей из литературного мира с действительно здоровым и могучим писательским организмом, именуемым Союзом писателей. Да, наши писатели неплохо обеспечены. Их благосостояние растет вместе с благосостоянием всего народа. Но из этого не следует делать вывод, что обеспеченность понижает творческую активность. Такое обывательское понимание вещей ничего общего не имеет с действительностью». Хорошо сказал по этому поводу Бернارد Шоу: «Не вообразите, что если вы будете трезвенниками, то непременно станете великими людьми». А на вопрос: «Каково ваше мнение о материальной обеспеченности писателя?» — Эрнест Хемингуэй ответил: «...Когда... творчество уже стало твоим главным пороком и величайшим наслаждением — только смерть может пресечь его». Ласуриа был побежден смертью, а больше — никем...

Берта Брайнина писала: «Целая плеяда молодых писателей ныне творит начатое Дмитрием Гулиа общее, дорогое для всех дело абхазской советской литературы». И эта плеяда тесно группировалась вокруг Гулиа,

училась у него и поддерживала его своим творчеством. Алексей Джонуа писал: «В лице Дмитрия Иосифовича Гулиа мы видим не только родоначальника абхазской литературы, талантливого поэта и прозаика, но и ближайшего друга и наставника на нашем творческом пути». Нури Акаба и Акибей Хонелиа пишут: «Дмитрий Гулиа был не только нашим замечательным поэтом, но и борцом. И стих в его руках был оружием, и оружие это верно служило народу».

Гулиа жил последние годы, что называется, на лоне природы, у самого синего моря, но только ошибочно можно было бы принять его за старика «на покое». Ежедневно, буквально ежедневно у него бывали посетители. Если какой-нибудь писатель вдруг из скромности, из нежелания побеспокоить не заходил к нему, Гулиа начинал беспокоиться: не заболел ли этот? Что с ним? Может, уехал куда-нибудь, не попрощавшись? Он и здесь, «на отдыхе», стоял в одном боевом ряду со всеми советскими писателями: подписывал воззвания о мире, протестовал против империалистических зверств, активно боролся за место каждого литератора в жизни. Телефон звенел с утра и до вечера. Письма уходили и приходили ежедневно. Народный поэт считал себя ответственным за каждого абхазского литератора.

Однажды он прочитал чьи-то лирические стихи. И в сердцах воскликнул:

— Это любовь скопца! Любовь понаслышке! Разве перестали у нас любить? Разве не рождается новое племя? Так откуда же эта сонливость? Она так же похожа на любовь, как свежая груша на ту, что из папье-маше.

Весь день ходил сердитый, а вечером сел и начал писать стихи. Это были стихи о любви. Стихи человека, влюбленного в человека, в жизнь. Многие из них талантливо переведены Марком Соболевым, и с ними может познакомиться каждый, кто возьмет в руки книгу Гулиа. 30 октября 1956 года «Советская Абхазия» сообщила, что «старейший народный поэт Абхазии Д. И. Гулиа работает сейчас над циклом стихов о любви». А когда стихи появились в печати, они были встречены читателями завидным вниманием. Поэт Сергей Смирнов писал: «Ему исполнилось восемьдесят лет. Можно подумать, что в таком почтенном возрасте поэту надлежит сиднем сидеть... Нет, не таков Дмитрий Гулиа! Он пишет цикл лирических стихов о любви, и его стихи нарасхват у молодежи...» С ним согласен и Расул Гамзатов: «Как пишет о любви седой поэт, читал я и не мог не удивляться. Теперь я понял: восемьдесят лет — едва ль не возраст юноши абхазца».

Абхазская литература шла в гору. Иван Папаскир издал новый роман,

Баграт Шинкуба уже читал фрагменты своей прекрасной поэмы «Песнь Скалы», Шалва Цвижба и Иван Тарба опубликовали серию лирических стихов, Алексей Ласуриа взялся за прозу и драму, Михаил Лакербай дал новую пьесу, молодой Алексей Гогуга порадовал своими рассказами. Появились новые имена: Кумф Ломиа, Шота Чкадуа, Анатолий Аджинджал. Неукротимый Киршал Чачхалиа действовал на «опасном» участке — в стихотворной сатире. Ему не раз перепали и калачи и шишки. Гулиа воодушевлял своих молодых друзей, ругал за промахи, хвалил за успехи.

Он не признавал само понятие «маленькая литература маленького народа». В одной из своих статей он ссылался на пример «шестидесятитысячного народа Исландии», который создал литературу, известную всему миру. Он писал: «Нельзя думать о литературных делах любой маленькой национальности, вроде абхазской, вне литературных процессов всесоюзного и даже мирового значения. Нам необходимо тянуться к самому высокому уровню, а иначе нет смысла тратить силу, энергию, материальные ресурсы».

К нему явился однажды молодой литератор с жалобой на то, что его до сих пор не печатают в Москве.

— Я ездил туда, — говорил писатель, — вел переговоры с издательствами, а они тянут. А почему — не знаю.

— Им не нравится твоя книга?

— Не знаю. Этого мне прямо не говорили.

— Так в чем же дело?

— Я и сам задавал этот вопрос. Наконец я сказал им, что если они так относятся к представителю небольшой литературы...

Отец перебил его:

— Как ты сказал?

— ...К представителю небольшой литературы...

Гулиа изменился в лице. (Скрывать свои чувства он совершенно не умел.)

— Ты что же, значит, решил просить Христа ради? При чем здесь малая литература? Нет, брат, хотел было написать письмо, а теперь подумаю. Разве можно в литературе брать жалостью? Это все равно, что перед любимой девушкой плакаться: чем больше твоих слез, тем меньше она уважать тебя будет. Как же ты мог ссылаться на малую литературу или малый народ? Литература — что золото: бывает большой кусок золота, а бывает маленький. Но и тот и другой кусок — это золото! Не бывает же так: большой — из чистого золота, а маленький — из глины. Золото есть

золото! Объем роли не играет.

Гулиа писал: «Или мы вечно будем твердить, что мы — литература малая, а посему почитайте нас такими, как видите, не требуя большого, или же настойчиво будем добиваться новых успехов, будем расти, ожесточенно бичуя наши творческие недостатки». Сказано предельно ясно и недвусмысленно. Итак, никаких скидок на молодость, никаких поблажек из-за «малости» литературы или народа. Этим правилом Гулиа руководствовался всю свою жизнь.

Читая новые стихи, знакомясь с новыми повестями абхазских писателей, он неизменно искал одного: черт зрелости, высокого мастерства и непременно честности. Он часто говорил, откладывая в сторону только что прочитанную вещь:

— Я не понимаю, читал этот автор что-нибудь, кроме себя? Толстого, например? Гомера, например? Бальзака и Пушкина, например? Творить в наше время так, словно начинаешь на голом месте, — величайшая глупость.

Его постоянно беспокоил уровень литературного мастерства. Ему хотелось, чтобы писали лучше его, больше его.

— Трагедия иной литературы, — говорил он, — не в том, что, скажем, мало она сделала, а в том, что плохо проявляет себя в данное время. Важнее всего, пожалуй, перспективы. Сад может не родить плодов в засушливое лето, но все-таки останется садом, если обещает обильный урожай в будущем.

Он все время перебирал в уме книги абхазских писателей, пытаясь как можно лучше уяснить, кто поведет за собой литературу. Отец считал, что без своеобразного творческого маяка, творческого лидера трудно двигаться вперед и поднимать общий литературный уровень. Он писал: «Если во главе творческой организации не стоит человек, идущий в своем творчестве вперед и подтягивающий к себе остальных, то вряд ли такая организация добьется больших результатов. Я не имею в виду конкретно должность руководителя творческого союза. Я говорю о лидере в литературе...»

Размышляя о писателях молодого поколения, Гулиа неизменно вспоминал Константина Симонова.

— Вот талант, сдобренный трудолюбием, неиссякаемой энергией и честностью! — говорил он.

С друзьями Гулиа забывал о своих болезнях и старости, садился за стол, ел и пил, словно ему под серок, бывал весел, разговорчив, обходителен до крайности. Часто, глядя на закат, Гулиа мечтал собрать побольше своих коллег за столом просто так, пображничать на манер

скифов или колхов, забыв обо всем и видя перед собой только улыбчивые лица. Несмотря на недомогание, Гулиа был еще полон сил. «Вечерняя Москва» писала 14 марта 1958 года: «Дмитрию Гулиа 84 года. Но он много, плодотворно трудится». Этим он был обязан прежде всего Елене Андреевне. Она была возле него двадцать четыре часа в сутки. Следила за каждым его движением, понимала его с полуслова. Наш друг доктор Иван Шагинов спрашивал ее, смеясь:

— Ну-с, главный врач, каковы будут ваши назначения?

Много сил уходу за больным отдала и Роза Меликова, всегда готовая проделать необходимую инъекцию или дать лекарство внутрь. Она не раз спасала отца в самые критические минуты, наблюдала его в течение многих лет. Я хочу, чтобы все это знали молодые абхазские литераторы, ибо и она работала на абхазскую литературу.

Гулиа внимательно просматривал свежие номера журналов «Алашара» и «Амцабз». Потом целые дни ходил молчаливый, что-то продумывал. И уж по телефону высказывал свое мнение: одних просил поздравить с успехом, других пожурить за слабость, а третьих и вовсе отругать за нерадивость. Он мучительно искал искорку таланта и, найдя ее, радовался, как ребенок. Я понимал его: это было делом всей его жизни, и он не щадил ни себя, ни других ради абхазской литературы. Как-то зашла речь о стихах одного поэта. Гулиа сказал:

— По-моему, он только и делает, что пишет и сам себя читает. Я не вижу за его словами никакой мудрости, никакой начитанности. Он, словно дикарь, глядит на солнце и радуется тому, что над головой сияет шар. Я не мыслю себе нынешнего писателя без глубоких, оригинальных мыслей.

Он неоднократно высказывал мысль о высокой культуре человека, ступившего на шаткую литературную стезю. В разных выражениях варьировал ее Гулиа. Он писал: «Я думаю, что главное для поэта — это культурный уровень». «Нужно, конечно, изучение опыта других поэтов для того, чтобы не допускать уже кем-то допущенных ошибок и не «открывать Америк». Но самая важная задача для каждого — выбор собственного пути»... «Что можно требовать от поэта, который не знаком, например, с «Илиадой» и Апулеем, Данте и Шекспиром, Бальзаком и Толстым, Лонгфелло и Есениным, поэзией Китая и Индии, Сервантесом и Свифтом, Маяковским и Шоу, Саади и Низами и многими другими. Особенно интенсивно надо, на мой взгляд, читать до двадцати лет, а затем регулярно всю жизнь — так же, как мы едим хлеб и пьем воду».

Эти мысли внушал Гулиа своим друзьям, своим ученикам. Его усилия не оставались безответными. Чуткое ухо молодого поэта ловило его слова.

Баграт Шинкуба пишет: «Исключительное воздействие на формирование моего поэтического «я» оказали стихотворения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа и талантливого абхазского поэта Иуа Когониа». Незабвенный Алексей Ласуриа восклицал: «Раньше ты один, а сегодня — сотни. Много твоих воспитанников идут по твоей дороге, идут вперед молодые».

Гулиа каждодневно пытался чувствовать это движение молодых вперед. Если он слышал их шаги за собой или впереди себя, то чувствовал себя на седьмом небе. Он говорил:

— Молодые должны опережать стариков. В этом смысл всего нашего существования.

Он говорил мне:

— Дети должны быть лучше, чище, богаче духом, нежели их родители. А в противном случае это трагедия.

Сколько раз Гулиа подчеркивал, как важна для литератора настоящая, сплоченная семья, настоящие друзья и товарищи! «В своей автобиографии (она помещена в двухтомнике гослитиздатовских биографий) я писал, что литератору важно быть здоровым — и физически и нравственно. Я говорил, что своим здоровьем я лично многим обязан своей жене, Елене Андреевне...

Я хочу сказать, что, если литератор не сумел создать такую семью, которая во всем ему помогает, он не совершит и десятой доли того, что мог бы совершить... Жена должна быть ему ближайшим помощником и другом. Жена, а потом и дети...

Не меньшее значение имеют товарищи, та среда, в которой вращается литератор. Хорошие друзья — тоже хорошие помощники, и наоборот...

Поэтому Гулиа всегда интересовался частной жизнью писателя. Знакомясь с писателем, он окольными путями выяснял, счастлив ли тот в семейной жизни, дружна ли его семья. Правда, говорят, иногда невзгоды служат источником вдохновения...

Отец щурил глаза.

— А нет ли здесь мистификации? Великой, талантливой мистификации, в которую поэт сам искренне поверил? Настоящая поэзия — как ни говори — требует светлого ума и трезвой мысли. Никогда не верь тому, что иные болтают, например, о Есенине, будто он хорошо писал, только будучи пьяным. Это чепуха!

И при всяком удобном случае отец ополчался против «идейных» пьяниц. Делал он это тактично, ссылаясь на свой собственный опыт.

— В молодости при мне всегда было оружие, — рассказывал Гулиа. —

Барабан револьвера был заряжен, и полным-полно пуль в карманах. Однажды мы кутили, а утром я проснулся дома. Напрягал память, но так и не смог вспомнить, как попал сюда. На коне? Пешком? Я проверил пистолет — ни единого заряда. Обшарил карманы — ни единой пули. Что за наваждение! Одеваюсь, иду во двор, чтобы встретиться с теми, кто бражничал вместе со мной. Спрашиваю: «Ну, как вчера кутили?» — «Отлично!» — отвечают мне. «Да, было очень хорошо», — говорю я. «А ты был в ударе, — говорят мне. — Стрелял как сумасшедший». — «На то и пир», — отвечаю. «Все обошлось хорошо: ты успокоился, когда выпустил в потолок все пули». Вот как! И я дал себе зарок: больше никогда не пьянеть. И слово свое я держу.

Он утверждал: «Чем более талантлив литератор, тем дольше положено ему жить на благо народа».

Свою автобиографию Гулиа закончил следующими словами: «Я пишу очень коротко. Всего не скажешь в небольшой статье. Думаю, что в моих стихах и прозе можно найти все то, что отсутствует здесь. В конце концов литератор — это его творчество. Каждого, кто заинтересуется моей скромной личностью, я отсылаю к моим произведениям».

Если проанализировать произведения последнего десятилетия, то мы увидим, как Дмитрий Гулиа методично, год за годом углублял свою поэзию. Он уже видел не только вокруг, но далеко. И за туманными подчас далями вставал яркий образ. Он шел к нему, словно самолет, который из точки превращался в живое человеческое сердце, словно бесстрашная птица, парящая среди туч.

Это не автопортрет. Относительно себя поэт не заблуждается. Он говорит, глядясь в волну: «Глаза у него мои, не таю, узнаю улыбку мою. Но седина, морщины притом. И палка — только взгляни! — как жердь, подпершая старый дом...» Однако не об этом внешне старом человеке речь. Гулиа видит то, что скрыто за этим образом. Человек силен, он может все. Разум его безграничен, как само море, лежащее перед домом поэта. «Я человек. Я друг твой. Я твой брат. Стою под солнцем, свету солнца рад. Моя земля — мне твердая опора. Я все могу: подняться в высоту, поспорить с быстрой птицей на лету. Создать моря и передвинуть горы. Я все могу!» У лирического героя Гулиа большая жажда жизни. Он много сделал, этот человек. А хочет большего. Не может жить без дела, не может сидеть сложа руки и предаваться сладостным воспоминаниям или красивым мечтам о будущем. Как много лет тому назад, голова и руки не знают покоя. «Я должен размышлять и работать, работать и думать даже в годы мои, даже в восемьдесят три мои года. Какая бы ни стояла погода. Без

скидок, без жалоб, о недугах своих забывать — и весною и летом, зимою и осенью, лени не поддаваясь, работать, писать». Герой, изображаемый Гулиа, счастлив, глаза его видят далеко, и сердце работает почти без износа. У этого героя очень много друзей, они едут к нему со всех концов нашей земли. «И мне удивительно хорошо: отовсюду сошлись друзья! Иду — здороваюсь с латышом, жму руку уральцу я». Это ощущение локтя, который рядом с тобою, теплота дружеских глаз хорошо переданы поэтом в стихотворении «Человек в горах»: ничего не страшно — ни круча, ни отвесная скала над головой, если рядом с тобою друг, пусть даже незримый!

Образ человека, созданный поэтом, красив во всех отношениях. Человек добр с друзьями и детьми, суров с врагом, дерзновенен в своих замыслах, нежен в любви и чист душою. И нестигаем в борьбе. Если же судьба поставит его в безвыходное положение, если кольцо врагов сожмется вокруг, то и здесь он найдет выход. Уподобится гулиевскому оленю, который, «ринувшись в пропасть, вперед... стал на мгновение птицей» и «по-прежнему непобедим...».

Гулиа много лет, но он еще не собирается подводить итоги. Строит планы будущих произведений, дописывает одну из лучших своих поэм — «Мой очаг». В ней много грусти, много личной драмы, в ней и трагедия абхазского народа в целом. Разве можно отделить собственную драму от судьбы народа? Возможно ли отграничить две волны одного потока? Корнелий Зелинский пишет: «В личной судьбе и многообразном творчестве писателя отразились судьбы его родного народа». Сознание исполненного долга перед народом воодушевляет поэта. Он счастлив, ибо счастлив народ, весь советский народ, идущий вперед и смело отбрасывающий негодный груз прошлых лет. Счастлив, ибо: «Абхазия моя — со мной, и вся Страна советская — со мной». Счастлив, ибо всем существом своим ощущает победу того, во имя чего жил с малых лет, — великую победу абхазской национальной культуры. Без этого, разумеется, жизнь его не была бы жизнью, без этого не существовал бы народный поэт. Поэтому Гулиа с полным внутренним удовлетворением и без излишней скромности мог написать: «Работой своей я доволен, поскольку все, что делал, делал искренне». В прямом и переносном смысле слова он с полным правом мог завершить поэму «Мой очаг» словами: «Жив мой очаг! Огонь в нем не погас. Жив мой очаг!.. Гори, очаг, для нас!»

Таково было мироощущение поэта, когда он подал заявление о приеме в Коммунистическую партию Советского Союза и был принят в ее ряды. Так в добрый час завершилось политическое «самообразование»

беспартийного человека, искавшего правду и жившего ради народа. И еще окрыляло его сознание того, что «друзья при штурме высоты твое поддержат знамя». Без этого счастье его не было бы полным.

Дмитрий Гулиа уже стар. И тут уже не скажешь словами Самеда Вургуна: «Поэт, как рано постарел ты!» Старость пришла к сроку. Это видно и нам, его близким, которые упорно отгоняли от себя эту мысль. Впервые он не присутствует на собственном юбилее — в день восьмидесятилетия: слушает передачу из Государственного театра Абхазии по радио. Мы уговорили его не ходить в театр — побережь силы. И он согласился. После небольшого сопротивления. Мама многозначительно посмотрела на меня, и я понял ее без слов: отец чувствовал себя плохо. Впервые написал он об этом Николаю Тихонову. «Ваш больной и преданный друг...» — так закончил отец письмо. «Неужели наступает этот невероятный час?» — подумал я. Глядя в его молодые глаза, я не верил этому. 20 февраля 1959 года Олег Моисеев писал в московской газете: «И сейчас Дмитрий Гулиа полон новых творческих замыслов, вот только зрение ослабло, но Татьяна Дмитриевна, заботливая и любящая дочь его, преподавательница литературы Сухумского пединститута, записывает под диктовку отца короткие рассказы и стихи, над которыми он сейчас трудится». Гулиа производит «отличное» впечатление на гостей: он оживлен, цвет лица прекрасен, глаза блестят, память великолепна. Шота Акобия пишет: «Для меня навсегда останется удивительной его память. Когда в начале 1960 года у него на квартире гостил Георгий Леонидзе, Д. И. говорил о старых грузинских друзьях: грузинских историках и литературоведах, о новых трудах абхазских и грузинских историков, высказывал различные замечания. И об этом пишет Георгий Леонидзе в своих воспоминаниях, которые опубликовал в «Литературной газете». Но там нет одного факта, о котором я сейчас хочу сказать. Леонидзе стал читать наизусть какое-то стихотворение на греческом языке, которое, видимо, преподавали в семинарии. Леонидзе внезапно умолк, забыв строки. Д. И. помог ему и продолжал читать это стихотворение на греческом языке».

Дом Гулиа по-прежнему широко открыт для гостей. Гулиа по-прежнему любит поговорить и послушать друзей. Аркадий Деев пишет: «Иногда мы часами просиживали с ним вдвоем. Говорили и молчали...» «Он умел хорошо слушать. Вероятно, потому, что весь был обращен к человеку и меньше всего думал о себе». Однако каждый входящий сюда теперь предупреждается строго-настрого: поэт Ласуриа не скончался, а

только тяжело болен. Мы старались уберечь отца. А он каждого входящего к нам в дом спрашивал:

— Как Алешино здоровье? Что говорят врачи?

Когда он сам смертельно заболел, просил профессоров:

— Прошу вас навестить Ласуриа. Ему ваша помощь нужнее...

Болгарский писатель Ангел Тодоров пишет: «...Он проводил нас до порога своего дома. Сквозь стекло автомашины я видел его в последний раз — его благородную, несмотря на годы, молодую осанку». Елена Андреевна была уверена: Дмитрий Иосифович еще долго будет «подводить» врачей — просто так он не сдастся. И я верил этому. Да и как не верить, глядя на него и слушая его стихи? В самом последнем стихотворении, «Старику», переведенном в Агудзере Евгением Долматовским, Гулиа писал: «Пускай все люди говорят — ты стар, колени слабые и сгорбленным ты стал. Ну, а в глаза твои те люди заглянули?.. Когда ты взором в дали залетал... А сердце слышали они твое?..» Могучий дух не желал сдаваться, и не так-то просто было согнуть этого горца. Когда его ограничивали в еде, он возмущался: ему хотелось жареного мяса с дымком, а ему предлагали «паровые котлеты, которые для больных». И он в таких случаях просил своего внука Диму прочитав стихи Назыма Хикмета о сердце, которое, «если от гнева или от радости разорвется — пусть разорвется». И говорил:

— Надо жить, а не лечиться всю жизнь.

И, как всегда, не терпел безделья, как всегда, пытался сберечь для работы каждую секунду. Он писал за неделю до смертельной болезни. «Надо жить полнокровно, знать и жизнь и людей. Опять же — время! Стало быть, не надо зря терять ни единой секунды».

Трудолюбие является неотъемлемым компонентом эстетических воззрений Гулиа. Без этого им не мыслится не только литературная деятельность, но и сама жизнь. Он восклицает: «Когда бездействуешь хотя бы день один — ты, значит, умер на день раньше срока!» Боренье было и есть для него единственная цель. Оно заполняет все его дни. Оно — в каждой его строке. И по-прежнему, как и во времена молодости, лирический герой Гулиа предстает человеком красивым внешне и могучим духом. Но это не гамсуновский «настоящий мужчина», хотя, может быть, чем-то с ним и схож. Герой Гулиа целеустремлен, для него ясен путь, перед ним лежащий: это трудная дорога борьбы, это сложные тропы, нехоженые, усеянные ловушками и чреватые бедами. «В сердце добром и отважном, верь мне, красота мужчины». Но грош цена этой красоте, если ты малодушен... «Если прав ты в споре важном, для уступок нет причины». Какой же это мужчина — а настоящий поэт всегда настоящий мужчина! —

«коль делам несправедливым вовремя не дашь отпора»? «Ты со злом обязан биться — так велят законы долга». Гулиа говорил:

— Благоверность и благоугodie — плохие признаки в таком боевом деле, как поэзия. Если ты не рожден для драки — уйди. Если боишься синяков — уходи с поэтической дороги. Есть много менее безопасных профессий!

Особенно в последние годы он настойчиво искал «настоящих поэтов» в среде абхазских литераторов. Незадолго перед смертью Гулиа написал письмо в руководящие абхазские инстанции с просьбой присвоить звание народного поэта одному-двум литераторам. «Я стар», — писал он, аргументируя эту свою просьбу. И он даже назвал одного из возможных кандидатов. При этом он имел в виду его не только бесспорный талант, но и гражданское мужество. Что такое поэт без мужества? Средний оперный тенор? И то в лучшем случае. Определяя место литератора в жизни, Гулиа писал: «Он находит красоту жизни там, где живет, среди тех людей, с которыми встречается ежедневно, с которыми делит радости и горести». Он говорил мне:

— Я знаю многих, которые с удовольствием делят радости. А вот горести? Много ли таких?

Он продолжал:

— Я знаю: мы маленький народ. Но разве народ измеряется только численно, а не духовными качествами? Статистика здесь может сильно подвести. Норвежцы — маленький народ? Народ Нансена и Амундсена, Ибсена и Хейердала — маленький народ? Я не желаю и слышать о цифрах! К определению духовных ценностей они не имеют никакого отношения.

Эту мысль он выразил и в своей «Автобиографии». (Вспоминая некоторые отцовы слова, я писал недавно в газете «Литература и жизнь»: «Страны и народы не измеряются нами погектарно и подушно».)

Всякая цифра, взятая для определения счастья или горя, глубоко возмущала Гулиа. Тем более раздражали его всяческие проценты, употребляемые для тех же целей. Однажды он где-то вычитал, какой процент населения пострадал при перегибах во время коллективизации. В общем цифра была небольшая. Но сам подсчет процентов поразил его до глубины души. Он высказал резкие слова по этому поводу. В несколько сглаженном виде они были опубликованы в «Знамени», в статье «Человек и время». Гулиа писал: «Я имею в виду «простого человека» не как обобщающий образ миллионов людей, а как отдельно взятую личность, как отдельного человека. Я хочу подчеркнуть это, ибо вспоминаю, как корбило меня в двадцатых годах, когда некоторые слишком горячие

абхазские товарищи жонглировали «процентами» и «массами», совершенно игнорируя отдельную личность. Их любимым выражением было «в основном». Если, например, кто-нибудь умирал в чужой семье, с их точки зрения, в этой семье «в основном» все было хорошо, ибо не вся семья перемерла.

Если бы на одну сотую секунды мы стали на точку зрения подобных товарищей и попытались рассматривать горе человека «с мировой точки зрения» и, не дай бог, принялись бы подсчитывать при этом проценты, то горе Анны Карениной оказалось бы горем одной двухмиллиардной частицы человечества и, может быть, с точки зрения статистики, малосущественным делом.

При таком подходе и смерть героя «Овода» была бы смертью всего-навсего одной двухмиллиардной человеческой особи с соответствующим ничтожно малым процентным числом...» «Невозможно горе человека раскладывать по полочкам и взвешивать на весах. Горе есть горе...» Я помню много тостов, которые произносил отец. Была среди них одна неизменная фраза:

— Будь настоящим человеком!

Я уже говорил, сколь много качеств включало это емкое понятие. «Будь самим собой везде ты, смело поступай и честно...» «Трусость увлекает в пропасть, храбрость — в небо, к птичьим стаям». «В жизнь иди прямой тропой, стань для слабого защитой...» И так далее.

17 февраля 1911 года Дмитрий Гулиа сделал следующую запись из Джона Рёскина: «Чтение и письмо отнюдь не составляют образования, если они не помогают людям быть добрее ко всем тварям». Надо ли объяснить, что, прежде чем быть добрее к тварям, человек должен быть добрее к себе подобным? Но не ко всепрощению призывал Гулиа. Его философия сложнее и действеннее. Он писал: «Друга позабудешь — горе, а врага забудешь — вдвое». Или: «Не один живешь ты в мире: есть враги и есть друзья в нем». Вообще я бы сослался на стихи «Молодым», которые бы назвал духовным завещанием Гулиа. Он их закончил словами: «Я старик, мои советы выслушать тебе полезно». Лично я эти советы выслушивал много раз. Всегда ли я их придерживался? Не знаю. Во всяком случае, старался это делать. А когда отступал от них, неизменно прогадывал. Хочу сказать для сведения молодых: никогда не следует отвергать советы старшего, не проанализировав их всесторонне и глубоко: если анализировать не научился, слушайся добрых советов. Это тоже наука. И не малая. Недаром в Абхазии существует такое проклятие: «Чтобы сам не

умел и добрых советов не слушался!» Есть прямой расчет каждому молодому вдуматься в эти слова...

Эстетические взгляды Гулиа с достаточной полнотой изложены в его произведениях и статьях. Они ждут еще своего исследователя. Можно сказать с полной уверенностью, что они неизменно возбуждали «души прекрасные порывы». Эдак слегка, но настойчиво подталкивали они к лучшему и только к лучшему. Тропу, по мнению поэта, всегда надо выбирать покруче, потруднее. Прожить со смыслом, уйти не бесследно — таков был его девиз. Он это хорошо выразил в очаровательном, на мой взгляд, стихотворении «Парус», которое мне хочется привести полностью в прекрасном переводе Владимира Державина: «Парус в мире лазурном уплывает под солнцем куда-то. Чуть качает на тихой волне. Скрылся вскоре бесследно в сияющем море. Будто не был он, будто приснился во сне... Так иные из нас по затишью житейских заливов без забот и трудов проплывают по воле судьбы, и они, как тот парус, уходят из глаз, исчезают навек, без следа... И не знаешь ты: жили они, или не было их никогда».

Самое страшное для человека — уйти, как тот парус. И не стать тем парусом зависит только и только от тебя самого. Человек может и должен воспитывать себя в нужном направлении, если он достаточно сознателен. Душа человека податлива: ее никогда не поздно переделать к лучшему. Поэтому не следует жалеть усилий для такой переделки. Он учил меня: человек живет не сто лет. Тем более литератор. А потому надо торопиться. Жизнь наша подвержена всяким случайностям. Как это сказал Омар Хайям? «Бог нашей драмой коротает вечность: сам сочиняет, ставит и глядит». Или: «Ловушки, ямы на моем пути. Их бог расставил. И велел идти». Одним словом, надо ценить время. Упустил его — потерял все. Физиологический процесс жизни необратим во времени и пространстве. В «Страницах моей жизни» Гулиа писал: «О смерти следует думать. Она стоит перед нами неотвратимо. И жизнь не очень длинна. Не надо особенно страшиться смерти, не надо трусить перед нею. Но вовсе упускать ее из виду тоже не следует. Стоит подумать над тем, что станут говорить и думать о тебе твои читатели. В этом смысле я придаю большое значение благородству и честности писателя». И еще и еще раз варьировал он свою давнишнюю мысль о плодотворной и упорной работе: «А хорошо ли мы распоряжаемся своей молодостью? Много ли творчески работаем? Не много ли болтаем? Не очень ли мы самоуверенны?» «Что такое жизнь для литератора, если он не работает?»

Я часто слушаю голос Гулиа в граммофонной записи. Он читает свои ранние шедевры на абхазском языке. Могу сказать одно: в голосе его так

мало внешнего исполнительского мастерства, что порою диву даешься. Почему поэт не пытается интонацией приукрасить стихи? Почему ни разу не оттенит он ритмичность слов? Он всегда читал свои стихи «плохо», а наизусть знал только те, которые для детей, — смешные, с причудливыми ассонансами. Однажды я спросил его: почему он мало читает свои стихи наизусть? Отец посмотрел на меня пытливо и сказал:

— А зачем?

— Чтобы читать их другим.

Он покачал головой.

— У меня на это нет времени.

Это состояние «вечного цейтнота» не покидало его до конца дней. Вспоминаю, как тяжело было с ним договориться о позировании художникам.

— Это очень трудно, — отнекивался он, — на это уйдет несколько часов.

Художник Осия Сегаль поправил его:

— Несколько дней, Дмитрий Иосифович.

— Дней?! — воскликнул поэт. — Это невозможно!

Было решено, что Сегаль будет писать его урывками, в минуты отдыха. Ни разу не удалось упросить отца позировать мне. Портреты с натуры были сделаны мною буквально на ходу. В этом смысле больше повезло Максиму Бренайзену и Петру Ванееву. Немало помаялся скульптор Гиви Рухадзе. Настоячивый Рухадзе не отставал от поэта, пока не вылепил портрета до «полной готовности». (Скульптуру Гулия, изображающую поэта с книгой на коленях, Рухадзе подарил городу Сухуми. Другая его работа установлена на могиле поэта в центре города.) Немало пришлось приложить усилий художнику Илье Шенгелая, чтобы заснять поэта на киноленту. Позировать Гулия решительно не желал. Не соглашался он также и на инсценировку «на лужайке, где светло».

— Если угодно, как есть, — сказал Гулия. — В комнате.

С этим пришлось примириться. (Имеющиеся кадры изображают Гулия в домашней обстановке, где освещение не всегда было подходящим...)

— Успеется, — отвечал он обычно на все просьбы запечатлеть его в кинокадрах, гипсе или на картине.

По-моему, он мало думал о смерти. Во всяком случае, до последних месяцев...

Я размышлял об этом, плывя на теплоходе «Дмитрий Гулия». Его построили по советскому заказу в Югославии, на верфях Пулы. Океанский корабль шел по Адриатике, шел мимо берегов Греции, через Дарданеллы и

Босфор — к черноморским берегам. Я сказал себе тогда: Гулиа был прав, когда он мало думал о смерти!

Аркадий Первенцев написал строителям теплохода: «Нам отрадно сознавать, что мирный корабль, построенный югославскими рабочими и инженерами, принимается из рук в руки советскими моряками во главе с капитаном Леонидом Шугаевым, моряками того самого моря, которое вдохновляло поэта...» «Дмитрий Гулиа являлся и является для всех нас, литераторов и граждан Советского Союза, образцом... мужественного поведения, стойкости и литературной ответственности за всякое исходящее от нас печатное слово...»

Я плыл и снова и снова мысленно пробегал по страницам его жизни...

Переговаривались мы с отцом по телефону довольно часто (когда я находился в Москве). Однажды сообщил ему, что собираюсь в Псков на конференцию читателей «Литературной газеты».

— А почему не в Михайловское? — спросил он.

Я не был подготовлен к ответу.

— Будь я на вашем месте, — продолжал отец, — собрал бы читателей где-нибудь поблизости от пушкинской могилы.

Быстро сообразив, что это было бы очень хорошо, я согласился с ним и пообещал переговорить с редакцией. Эту идею поддержали.

Наш маршрут пролегал через Смоленск, Витебск к Пушкинским горам. Оттуда в Псков и через Новгород в Москву. Была зима. Мы ехали в машине с остановками и ночевками... Я отчитался перед отцом по телефону. Он выслушал меня и сказал:

— Завидная поездка. А летом, мне кажется, неплохо бы в Тарханы. Там Лермонтов...

В Агудзеру я приехал в разгар лета. И не один вечер беседовали мы с отцом о Пушкине и Лермонтове. Он попросил внука Диму прочесть вслух пушкинскую «Бурю»... А потом долго раздумывал, между тем как домашние болтали о разных разностях. Вдруг он сказал:

— Петь свои песни на своей родной земле — что может быть лучше?..

Он потребовал бумаги и чернил. И просидел за столом до вечернего чая.

Владимир Фролов пишет: «Возрождение народа, как в серебристой капле воды, пронизанной солнечными лучами, отражается и в семье Гулиа». Это и понятно: Дмитрий Гулиа никогда не мыслил себя вне своего народа. Если бы ему сказали: вот интересы народа и вот твои личные

интересы, интересы твоей семьи. Чем ты можешь поступиться? Он бы, не раздумывая, ответил: интересами семьи! Что семья, если народ абхазский в чем-то, хотя в самом малом, стеснен? Он писал: «Иногда говорят, что первую книгу литератор пишет для народа, а остальные — для того, чтобы прокормить семью. Если допустить на одну секунду, что это так, то литература давно бы захирела в масштабе всего мира... Более того, большинство писателей — подвижники, которым есть что сказать народу и которые говорят с народом ежечасно». Гулиа предельно ясно выразил свое самое заветное желание в своих стихах: «Всю жизнь свою как воин и поэт, служить народу — выше счастья нет!»

Каждый человек должен быть счастлив, утверждал поэт. А для чего же рождается и живет человек? Неужели же ради того, чтобы испить до дна горькую чашу земного существования? Никогда! И поэтому священным делом каждого, а тем более литератора, является беззаветная борьба за счастье простого человека. Гулиа писал в «Знамени»: «Человек живет однажды. И он должен прожить свою жизнь счастливо. Какая бы гигантская задача перед обществом ни ставилась, она, эта задача, не должна ни в коем случае подавлять душу, а, напротив, возвышать. Ленинизм дает для этого все возможности. В этом все существо ленинизма, указывающего наиболее верный путь к коммунизму — счастьем человека». Он горячо приветствовал решения Двадцатого и Двадцать первого съездов партии и разоблачение культа личности Сталина. Поэт отмечал, что великое значение этих решений, «в частности, в том, что интересы государства и интересы простого человека были приведены в более гармоничное сочетание». Поэт писал: «Я с удовольствием слушал статью, напечатанную в «Правде» 21 декабря 1959 года, которую читал мне мой внук, особенно то место, где говорилось, что «партия критиковала культ личности и ликвидировала его последствия для того, чтобы такие явления никогда не могли повториться в будущем». Золотые слова!»

Был августовский день 1959 года. Небо над нами сияло аквамарином. Колер его как две капли воды походил на небеса, писанные рукою итальянских художников эпохи Возрождения. Едва колыхалось море, буйно зеленели деревья. Пахло ежевикой.

Отец увел меня в дальний угол двора. И мы уселись на скамью, окруженную виноградом.

— Слушай внимательно, — сказал он, закуривая. — Ты должен понять одно: меня скоро не будет.

Я запротестовал. Я и слышать не хотел о смерти в этот прекрасный

день. Весьма возможно, что с моей стороны это было проявлением слабости, нежеланием смотреть фактам в лицо, стремлением продолжать иллюзию нерушимого счастья. Я внимательно посмотрел на него: цвету его лица можно было позавидовать, все медицинские анализы объективно говорили о том, что не существует непосредственной угрозы здоровью отца. Сердце его работало с точностью часового механизма. Однако он настаивал и несказанно огорчил меня. Прежде никогда он не говорил этого.

— Не спорь, — сказал он жестко, — я знаю, что говорю. Ты скоро уедешь в Москву. И я хочу, чтобы ты ясно представлял мое положение. Но это — только между нами. Дай слово!

Он курил папиросу и смотрел вдаль. И немного погодя сказал:

— За абхазскую литературу я как будто не тревожусь. По-моему, дело идет. Может быть, не так успешно, как хотелось бы, но тем не менее идет. В абхазских школах, как мне передавали, жизнь тоже не стоит на месте. И это очень важно. Ее слишком потрясли в сорок седьмом году. Но теперь, бог даст, все будет в порядке. Это жизненно важно для литературы. Для народа.

Окончить разговор помешали: явился кто-то из литераторов.

23 марта 1960 года зазвонил телефон. Вызывала междугородная. Я поднял трубку и услышал голос сестры.

— Вот что, — сказала она, — папе лучше. А два часа тому назад казалось, что произошло кровоизлияние в мозг. Легкое, конечно. Не беспокойся, все в порядке.

Мне никогда — повторяю, никогда — не сообщали о его болезни. Если я и узнавал, то постфактум, спустя несколько дней, когда он уже сам подходил к телефону.

— Если хочешь — приезжай, — сказала сестра.

На следующий день рано утром я выходил из самолета. Меня встречала сестра.

— По-видимому, случился динамический спазм: на час, на два отказала левая рука и частично левая нога. Но вскоре все восстановилось.

Через полчаса я стоял у его изголовья и обнимал за плечи. Он улыбался и жал мне руку, желая показать, что она у него действует. Спросил:

— Как твоя маленькая Таня? Здорова? Сколько в ней весу?

Вся медицина, можно сказать, была поставлена на ноги. Врачи дежурили возле больного. Я никогда не забуду того, как восемь дней и восемь ночей подряд, не смыкая глаз, возле отца сидела Татьяна

Дмитриевна. С тех пор я проникся особым уважением к женской половине человечества.

Я очень надеялся, что отец и на этот раз «подведет» врачей. Начавшееся очаговое воспаление легких оказалось удивительно стойким. Елена Андреевна не теряла надежды:

— Он встанет.

И в самом деле, Гулиа повеселел, температура несколько нормализовалась.

— Что у вас там, в Москве? — спрашивал он.

— Работаем, — отвечал я.

— Все пишете пухлые романы? — шутил он. — Романы без единой улыбки?

— Вроде бы, — в тон ему отвечал я.

— А нельзя ли чуть покороче?.. И чуть посмешнее? Хотя бы некоторые страницы. Хотя бы десять из ста.

Мы все надеялись, несмотря на то, что зубцы на кардиограмме становились все менее острыми, сигнализируя о том, что сердце восьмидесятишестилетнего поэта слишком устало. И это случилось ровно в пять часов вечера 7 апреля 1960 года...

Три дня мы прощались с ним. Три дня я смотрел на него. О многом так и не успели поговорить. Теперь я это чувствую особенно остро. А когда его гроб, установленный на высоком постаменте в Государственном театре Абхазии, окружили писатели, учившиеся по его алфавиту и на его стихах, мне казалось, что он все еще продолжает думать о литературе и не торопится подводить итоги. А из уст будто слышались слова, высказанные менее чем месяц тому назад: «Оглядываясь на пройденный путь, я могу сказать с удовлетворением, что усилия мои и моих абхазских товарищей по перу не пропали даром: абхазская литература живет и здравствует!» И через два года после этого Александр Твардовский с полным основанием сможет заявить: «Поэты Абхазии свято хранят традиции основоположника абхазской литературы Д. И. Гулиа и умножают их!» Однако Гулиа никогда не обольщался. Довольный достигнутым, он становился требовательнее к себе и друзьям. Поэтому примечательна его фраза: «Теперь все зависит от наших молодых писателей, полных силы и энергии».

Она звучит в моих ушах каждый раз, когда я прохожу мимо гранитного памятника Дмитрию Гулиа и мысленно склоняюсь к его подножью.

Агудзера — Кисловодск — Москва

1961–1962, 1966

НЕКОТОРЫЕ ИМЕНА, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ

Абашидзе И. — грузинский поэт, академик и общественный деятель (род. в 1909 г.).

Адлейба А. — доцент Сухумского педагогического института, кандидат исторических наук (род. в 1917 г.).

Акаба Н. — абхазский общественный деятель (род. в 1916 г.).

Акобия Ш. — грузинский поэт, автор нескольких книг стихов (род. в 1920 г.).

Аршба Т. — абхазский журналист, автор книги «Из истории большевистской печати Абхазии» (род. в 1929 г.).

Бгажба Х. — абхазский литературный критик, совместно с К. Зелинским написал книгу «Дмитрий Гулиа» (род. в 1914 г.).

Бауков И. — русский поэт, автор книги стихов «В родном краю» и др. (род. в 1909 г.).

Бёль Г. — западногерманский прозаик, автор рассказов и романов (род. в 1917 г.).

Бикмухаметов Р. — критик и литературовед (род. в 1929 г.).

Брайнина Б. — русский литературный критик, лауреат Государственной премии (род. в 1902 г.).

Бренайзен М. — художник-график (1916–1965).

Ванеев П. — художник-график (род. в 1911 г.).

Гольдинов Л. — русский журналист, работающий в Абхазии (род. в 1914 г.).

Гришашвили И. — грузинский поэт-академик, лауреат Государственной премии, автор лирических стихов и песен (1889–1965).

Дадиани Ш. — грузинский драматург и общественный деятель, народный артист Грузинской ССР (1874–1959).

Деев А. — русский литературный критик и переводчик (род. в 1897 г.).

Делба М. — абхазский литературный критик (род. в 1905 г.).

Джонуа А. — абхазский поэт, партизан в Великую Отечественную войну (род. в 1920 г.).

Дзидзария Г. — абхазский ученый и общественный деятель, профессор, доктор исторических наук (род. в 1914 г.).

Долматовский Е. — русский поэт, лауреат Государственной премии

(род. в 1915 г.).

Донн Д. — английский поэт XVII века.

Дроздов А. — русский прозаик, автор «Предрассветного часа», «Таврических дней» и других книг (1895–1963),

Евгенов С. — русский литературный критик (род. в 1897 г.).

Запорожский И. — педагог, почти всю жизнь проработавший в Абхазии (род. в 1879 г.).

Зелинский А. — русский литературный критик (род. в 1896 г.).

Инал-ипа Ш. — абхазский литературный критик, заслуженный деятель науки Абхазской АССР (род. в 1914 г.).

Искандер Ф. — абхазский поэт, переводчик (род. в 1929 г.).

Кедрина З. — русский литературный критик (род. в 1904 г.).

Коротеев В. — русский журналист (1911–1965).

Кортуа И. — абхазский фольклорист, заслуженный деятель искусств (род. в 1910 г.).

Кривицкий А. — русский публицист и очеркист (род. в 1910 г.).

Кроткий Э. — русский поэт-сатирик (1892–1963).

Лакербай М. — абхазский прозаик, драматург, автор пьесы «Потомок Гечей», книги рассказов «Аламыс» (1901–1965).

Лакоба Нина — абхазский этнограф (род. в 1926 г.).

Липкин С. — русский поэт и переводчик (род. в 1911 г.).

Ломиа К. — абхазский поэт и общественный деятель (род. в 1928 г.).

Мелихов А. — историк, работавший в Абхазском институте истории, языка и литературы имени Д. И. Гулиа.

Моисеев О. — русский журналист, автор ряда книг (род. в 1903 г.).

Осетров Е. — русский критик и публицист (род. в 1923 г.).

Остроумов А. — профессор, врач-терапевт (1847–1908).

Папаскир И. — абхазский прозаик, автор романов «Темыр», «Путь Химур» и др. (род. в 1902 г.).

Парацельс — немецкий врач и естествоиспытатель (1493–1541).

Пачулиа В. — абхазский историк и археолог (р. од, в 1929 г.).

Плющ Л. и Ф. — близкие друзья Д. Гулиа.

Ф. Плющ — инженер-тоннельщик (1900–1963).

Л. Плющ — преподавательница английского языка (род. в 1905 г.).

Рёскин Д. — английский мыслитель, критик и публицист (1819–1900).

Рухадзе Г. — скульптор, автор памятника Д. Гулиа в Сухуми (род. в 1925 г.).

Сароян У. — американский писатель (род. в 1908 г.).

Саят-Нова (Арутин Саядян) — армянский поэт-ашуг, писал также на

грузинском и азербайджанском языках (1712–1795).

Сегаль О. — художник-портретист, много лет работавший в Сухуми.

Сердюченко Г. — профессор, филолог, много работавший и в области абхазо-адыгейских языков (1904–1965).

Солоухин В. — русский поэт и прозаик (род. в 1924 г.).

Стрелецкий Н. (Урюпин) — русский журналист, работавший в Абхазии.

Тарба Б. — доцент Сухумского педагогического института, кандидат педагогических наук (род. в 1927 г.).

Тарба И. — абхазский поэт и общественный деятель, автор поэм «На суд товарищей» и «Эхо в горах», романа «Известное имя» (род. в 1921 г.).

Тенцинг Норгей — шерп, вместе с Эдмундом Хиллари покоривший Эверест 29 мая 1953 года.

Тодоров А. — болгарский писатель и общественный деятель (род. в 1906 г.), лауреат Димитровской премии.

Трапш М. — абхазский археолог, кандидат исторических наук (род. в 1917 г.).

Фролов В. — русский критик, искусствовед, кандидат искусствоведческих наук (род. в 1917 г.).

Хашба М. — абхазский прозаик и публицист, автор сборника рассказов «Алло!» и др. (род. в 1903 г.).

Хейердал Т. — норвежский ученый, автор «Путешествия на «Кон-Тики» (род. в 1914 г.).

Хонелиа А. — абхазский историк, кандидат исторических наук (род. в 1906 г.).

Чачхалиа К. — абхазский поэт-сатирик (род. в 1918 г.).

Шакербай Е. — абхазская актриса, народная артистка Абхазской АССР (род. в 1905 г.).

Шевцов В. — русский журналист (род. в 1919 г.).

Шенгелая И. — художник-пейзажист и график (род. в 1922 г.).

Шинкуба Б. — абхазский поэт и общественный деятель, автор поэм «Песнь Скалы», «Мои земляки» (род. в 1917 г.).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. ГУЛИА

1874, 21 февраля—Родился Дмитрий Гулиа в селе Уарча (Абхазия).

1889, лето — Д. Гулиа окончил горскую школу в Сухуме и поступил в Закавказскую учительскую семинарию в городе Гори.

1892 — Вышла в свет «Абхазская азбука», составленная Гулиа совместно с К. Д. Мачавариани.

1911, 11 октября — Гулиа женится на Елене Андреевне, урожденной Бжалава.

1912 — Вышла первая книга стихов Гулиа.

1913—Издана вторая книга Гулиа — поэма «Любовное письмо».

1917 — Поэт пишет стихи «Вперед».

1918, зима — Поездка Гулиа «за хлебом для Абхазии» на Северный Кавказ.

1919, 27 февраля — Выход первого номера первой абхазской газеты «Апсны», редактором которой был Гулиа.

1921, 4 марта — Установление в Абхазии советской власти.

Лето — Организация первого абхазского передвижного театра.

1924 — Гулиа с семьей переезжает в Тифлис и здесь в университете читает курс абхазского языка.

1925 — Выход в свет «Истории Абхазии. Том. I» Д. Гулиа.

1929 — В Сухуме организуется Академия абхазского языка и литературы (по инициативе акад. Н. Я. Марра). Д. Гулиа утверждается ее председателем.

1934 — Вышел в свет «Сборник избранных произведений».

1937 — Присвоение Дмитрию Гулиа звания народного поэта Абхазии.

1938 — Гулиа избран членом Президиума Верховного Совета Абхазии.

Лето — Поездка Гулиа в Киев, Ленинград и Москву.

1943 — Торжественно отмечено пятидесятилетие творческой деятельности Д. Гулиа.

1944 — Поездка Д. Гулиа в Москву через Баку и лежащие в развалинах фронтовые города.

1954 — Выход первого тома сочинений Д. Гулиа (второе издание).

1960, 7 апреля, 17 часов — Кончина Дмитрия Гулиа на даче в селе

Агудзера (Абхазия).

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Дмитрий Гулиа в возрасте 25 лет.



Село Марча. Здесь жил Урыс Гулиа.



Дмитрий Гулиа. 1902 год



П. К. Услар.



К. Д. Мачавариани.



Дмитрий Гулиа. 1907 год.



Гулиа. 1911 год.



Елена Андреевна Гулия. 1911 год.



Дмитрий Гулиа в бытность свою учителем сухумских школ.



С. Чанба.

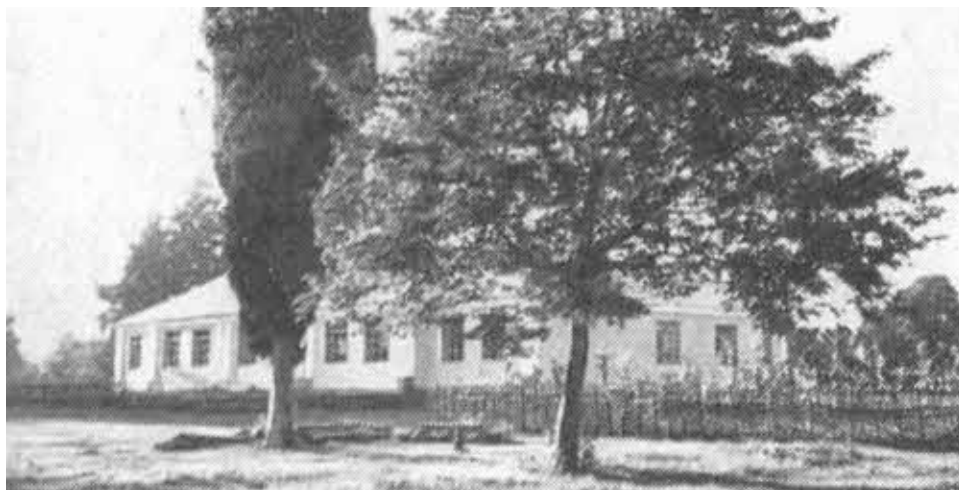


Река Кодор.



Село Кинг. Школа. Здесь преподавал Гулиа.

Эти деревья посажены им в 1900 году.



Село Тамш. Школа имени Л. И. Гулиа.



Дмитрий Гулиа — преподаватель сухумской семинарии.



Дом Гулиа в Сухуми.



И. Когониа



Л. Квициниа.



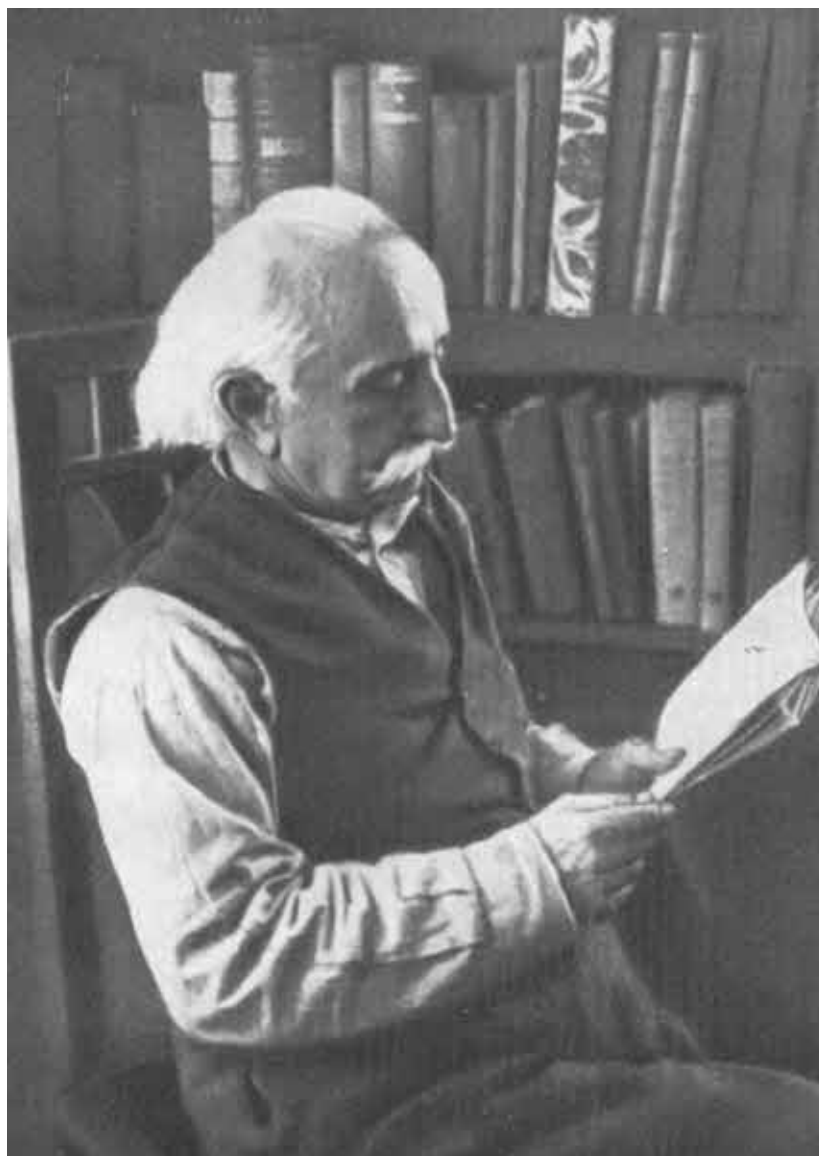
Сухуми. Улица Ленина.



Агудзера. Дача Гулиа.



Дмитрий Гулиа с семьей. 1931 год



Гулиа в своем кабинете.



Л. Лабаха.



Дмитрий Гулиа с молодыми поэтами.



Гулиа на балконе дома в Сухуми.



Абхазские писатели в гостях у Гулиа. 1955 год. Слева направо: Алексей Джонуа, Алексей Ласуриа, Шота Акобия, Георгий Гублиа, Баграт Шинкуба, Кумф Ломиа, Иван Папаскир, Чичико Джонуа, Нелли Тарба.



Гулиа в своем кабинете. 1957 год



Гулиа у здания Президиума Верховного Совета Абхазской АССР



Гулиа в Подмоскowie

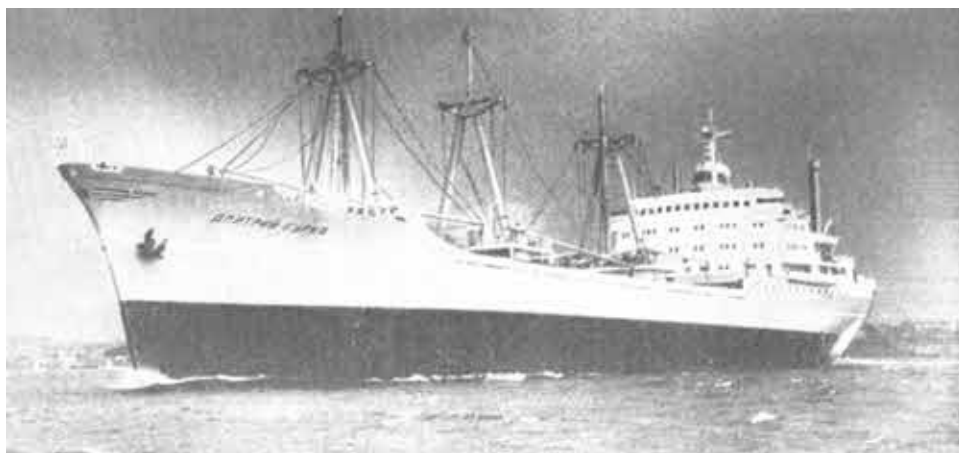


Марка, выпущенная Министерством связи СССР

к 90-летию со дня рождения Д. Гулиа.



Надгробный памятник Д. И. Гулиа в центре Сухуми.



Теплоход «Дмитрий Гулиа» в Пуле (Югославия).

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. ГУЛИА

Абхазская азбука. Совместно с К. Д. Мачавариани. 1892.
Абхазские пословицы, загадки и скороговорки. 1907.
Сборник стихотворений. 1912.
Любовное письмо. Поэма. 1913.
Абхазский календарь. 1920.
Под чужим небом. Повесть. 1920.
История Абхазии. Том. I. 1925 (на русском языке).
Божества охоты и охотничий язык у абхазов. 1926 (на русском языке).
Материалы по абхазской грамматике. 1927 (на русском языке).
Культ козла у абхазов. 1928 (на русском языке).
Терминологический словарь (русско-абхазский). 1930.
Стихи. Сатира. Песни. 1933.
Орфография абхазского языка. 1933.
Избранные произведения. 1934.
Абхазские частушки. 1934.
Сухум не Диоскурия. 1935 (на русском языке).
Русско-абхазский общественно-политический словарь. 1936.
Камачич. Роман. 1938.
Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, омонимов, омографов, народных примет о погоде, заговоров и наговоров. 1939.
Абхазский орфографический словарь. 1940.
Короткие рассказы. 1943.
Призраки. Пьеса. 1940–1946.
Учебники для 1, 2, 3, 4, 5, 9-го классов. В разные годы. Сочинения. В четырех томах. 1954–1961.

ПЕРЕВОДЫ

Болезни домашних птиц и их лечение. С русского. 1910.
Как выбрать здоровую молочную корову. С русского. 1919.
Лечебник. С грузинского. 1920,
Да здравствует свобода! Пьеса. С русского. 1920.
Двое голодных. Фарс. С грузинского. 1920.

Несчастный день. Водевиль. С грузинского. 1920.
Я умер. Фарс. С русского. 1920.
Сперва скончались, потом повенчались. Водевиль. С грузинского.
1918.
Воспитатель. Поэма. С грузинского. 1923.
Витязь в тигровой шкуре. С грузинского. 1941.
Слово о полку Игореве. Совместно с М. Гочуа. С русского. 1938.
Переводы стихов Пушкина, Церетели, Чавчавадзе, Шевченко,
Лермонтова, Хетагурова и других.

INFO

Гулиа Георгий Дмитриевич.
ДМИТРИИ ГУЛИА. Повесть о моем отце. 2-е изд.
М., «Молодая гвардия», 1965.
256 с. с илл. (Жизнь замечательных людей.
Серия биографий. Вып. 27(352).
8С(Абх.)

Редактор *Г. Померанцева*
Серийная обл. *Ю. Арндта*
Заставки *М. Бренайэна*
Худож. редактор *А. Степанова*
Техн. редактор *Л. Коноплева*

Подписано к печати 7/XII 1965 г. Бум. 84×108 1/32.
Печ. л. 8(13,44)+9 вкл. Уч. — изд. л. 13,5. Тираж 50 000 экз.
Заказ 1795 Цена 61 коп. Т. П. 1966 г., № 397.
Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

notes

Примечания

1

Черносотенцев.

Кааба — храм мусульман-супнитов в Мекке.